ВЪСТНИКЪ R B P O II bl

ЖУРНАЛЪ

ИСТОРІИ - ПОЛИТИКИ - ЛИТЕРАТУРЫ

двъсти-тридпать-первый томъ

сороковой годъ

томъ і

#1-2

редакція "въстника Европы": галерная, 20.

Главная Контора журнала: Экспедиція журнала: Вас. Остр., Академич. переулокъ, № 28.

No 7.

САНКТПЕТЕРБУРГЪ

1905

ИЗЪ

моихъ воспоминаній

1843—1860 гг.

Greif nur hinein ins volle Menschenleben! Ein Jeder lebt's, nicht vielen ist's bekannt, Und wo ihr's packt, da ist's interressant. Goethe.

I.

Sa personnalité rayonne, rechauffe, et le parfum de son âme pénètre partout, on la sent, sans la voir. Elle est comme l'air pur qui nous fait vivre et que nous ne voyons pas. Son coeur et sa vie sont aux autres.

24-го ноября 1843 года, въ свътлой и просторной домовой церкви Академіи Художествъ шла объдня: былъ престольный праздникъ—день св. Екатерины. Рядомъ съ герцогомъ Максимиліаномъ Лейхтенбергскимъ стоялъ отецъ мой—графъ Өедоръ Петровичъ Толстой 1); во время объдни ему пришли сказать, что у него родилась дочь. "Вы, конечно, назовете ее Екатериной", — сказалъ герцогъ и вызвался крестить младенца, но такъ какъ старшихъ, рано умершихъ сыновей отца крестилъ государь, то герцогъ нашелъ необходимымъ, чтобы отецъ и на этотъ разъ про-

¹⁾ Графъ Ө. П. Толстой (род. 1783 г.; ум. 1873 г.) быль вице-президентомъ Академіи Художествъ (1828—1859 г.) и товарищемъ президента до конца своей жизни. Въ сороковыхъ годахъ истекшаго въка, къ которымъ относится начало воспоминаній, президентомъ Академіи былъ Максимиліанъ, герцогъ Лейхтено́ергскій.— Ред.

силъ государя. Отецъ мой очень любилъ и уважалъ Лейхтенбергскаго, и послѣдній, кажется, платилъ ему тѣмъ же, заходилъ къ нему по-просту; въ дѣлахъ академіи у нихъ все шло согласно и мирно. Помню я боченки мадеры и свѣжей икры, которые присылалъ намъ герцогъ къ праздникамъ; помню частые разговоры отца о его добротѣ, справедливости, честности, вслѣдствіе которыхъ образъ герцога въ моемъ раннемъ дѣтствѣ воплотился въ полнѣйшій идеалъ, и я всегда жалѣла, что не онъ былъ моимъ крестнымъ отцомъ. Воспріемниками моими при самомъ крещеніи были Константинъ Андреевичъ Тонъ и г-жа Кожухова.

Мать моя была изъ небогатой семьи, дочь армейскаго капитана Иванова, но выросла, или, по крайней мѣрѣ, долго жила, въ семьѣ Ахфердовыхъ, гдѣ получила нѣкоторое образованіе. Она хорошо владѣла французскимъ, нѣмецкимъ и итальянскимъ языками, играла порядочно на фортепіано и постоянно пополняла свое образованіе серьезнымъ чтеніемъ.

Младшая сестра матери, моя тетка, оставалась у вдоваго, больного отца, а послъ его смерти перешла жить къ старшему своему брату. И у того, и у другого, ее ровно ничему не учили, а употребляли въ видъ прислуги. Она говорила по-нъмецки, вслъдствіе того, что съ отцомъ жила въ Митавъ. Мать она потеряла еще очень маленькой; судя по тъмъ дътскимъ впечатлъніямъ, о которыхъ мнъ приходилось слышать отъ моей матери, бывшей гораздо старше тети, бабушка моя была чудная, кроткая и несчастная женщина. Дътства совсъмъ не было у моей тети: она никогда не играла, не бъгала, ее никто не ласкалъ; совсъмъ крошечной она ходила за больнымъ отцомъ и, какъ могла, справлялась съ хозяйствомъ. Въ старости тетя со слезами на глазахъ разсказывала мив, какое сильное впечатлвніе произвело на нее, когда одна посторонняя дама разъ обласкала и поцъловала ее, какую безконечную любовь и благодарность почувствовала тетя въ душь къ этой чужой женщинь, которой никогда больше не видала.

Дядя мой Ивановъ былъ добрый, честный, но простоватый чиновникъ. Онъ былъ много старше сестеръ и былъ уже вдовдомъ, когда пріютилъ у себя младшую сестру, которая, сама еще ребенокъ, превратилась въ няньку его дочери Сони. Черезъ нъсколько времени дядя получилъ мъсто эконома при сумасшедшемъ домъ и взялъ тогда къ себъ и мою мать, уже взрослую дъвушку. Семья зажила хорошо и весело.

— Братъ никогда не бралъ деньгами, — разсказывала объ этомъ періодъ своей жизни тетя; — когда онъ оставилъ это мъсто,

то ушелъ съ пустыми руками, даже всъ удивлялись и не върили. Но домъ у насъ былъ полная чаша: бывало, къ праздникамъ и головы сахару, и лучшіе чаи, и вина, и окорока—всего понатащать... Гостей масса, — только, знай, со всёмъ этимъ справляйся. И все было на моихъ рукахъ, — замѣчала тетя.

— Ну, а моя мама что-жъ дѣлала? — спрашивала я.

— А мама все книжки читала, гостей принимала, — отвъ-

чала тетя.

Такъ съ ранняго возраста опредълилась жизнь этихъ двухъ, столь непохожихъ другъ на друга, сестеръ.

Къ несчастью, дядя женился во второй разъ; мать моя была уже тогда невъстой и вышла замужъ, не видавъ всъхъ тъхъ безобразій, которыя пришлось вид'йть и переносить ея младшей сестръ, моей тетъ.

Екатерина Павловна Иванова, невъстка ея, была женщина капризная, вспыльчивая, избалованная; вследствіе своего пребыванія въ институтъ, она считала себя выше той среды, въ которую вошла, и потому позволяла себъ сидъть сложа руки и наряжаться, въ то время, какъ тётя, молоденькая сестра ея мужа несла все бремя хозяйства и уходъ за дътьми, крикъ которыхъ мать, по "нъжности своихъ чувствъ" и по "нервозности", не могла выносить. Нервы Екатерины Павловны не мъщали ей выдирать клочья волосъ и топтать ногами свою единственную криостную дивушку. Въ порыви бъщенства она такъ испугала разъ свою старшую, бывшую еще грудной, дочь, что та захворала. Вся отвътственность, весь страхъ и весь уходъ за больной дъвочкой, которая съ этой минуты уже не поправлялась, палъ на мою тетю. По нъсколькимъ недълямъ не ложась въ постель, она должна была еще заботиться, чтобы крикъ ребенка не долеталъ до гостиной или спальной. Тетя разсказывала. что съ ней быль въ это время случай, очень удивившій ее: она пошла въ другую комнату, чтобы взять подушку и прилечь около ребенка; вдругъ на ходу она заснула и проснулась стоя, съ подушкой въ рукахъ, и не понимая, гдъ она и что съ ней. Дядя въ это время потерялъ мъсто смотрителя. Матеріальное положеніе семьи было много хуже прежняго, жалованья не хватало при безпорядочномъ образъ жизни хозяйки, и скоро у Ивановыхъ воцарилась настоящая нужда.

Когда я родилась, мать моя уговорила тетю перевхать къ ней и взять меня на свое попеченіе. Другой няни у меня и не было; тетя не оставляла меня съ кормилицей ни днемъ, ни ночью. Жизнь тети потекла и въ нашемъ домъ тъмъ же путемъ труда и самоотверженія, какъ и у брата. Правда, здісь не было дикихъ сценъ, но зато было больше искушеній, и подвигъ жизни ея былъ еще труднъе.

Родители мои жили открыто и шумно: музыкальные и танцовальные вечера смѣнялись живыми картинами и домашними спектаклями. Ставились драмы вродѣ: "Она помѣшана", "Продавець дѣтскихъ игрушекъ" и "Актриса Дюмениль", въ которыхъ мать моя, говорятъ, превосходно играла и вызывала слезы зрителей. Особенно много разсказовъ слышала я объ одномъ изъ наиболѣе удавшихся костюмированныхъ вечеровъ, когда наша большая зала была преображена въ залу средневѣкового охотничьяго замка. Нѣсколько нашихъ извѣстнѣйшихъ художниковъ, съ отцомъ во главѣ, работали надъ этимъ дни и ночи. Вмѣсто отдыха они плясали и пѣли; спали тутъ же на полу въ большой залѣ. Стѣны и потолки покрылись декораціями, представлявшими рѣзьбу изъ темпаго дуба; вылѣпленныя отцомъ изъ папье-маше́ головы вепрей, медвѣдей, оленей, вмѣстѣ съ разнымъ древнимъ оружіемъ, довершали украшеніе. Родители мои встрѣчали гостей своихъ въ костюмахъ древнихъ сhâtelain'овъ.

Тетя не присутствовала при этихъ увеселеніяхъ; она сидъла въ это время наверху, около моей колыбели. Но въдь она тогда была молода! Неужели никто никогда не вспоминаль объ ен молодости, объ ея правъ на жизнь? Я спросила ее какъ-то, внослѣдствіи, за нѣсколько лѣтъ до ея смерти: "Развѣ тебѣ не хотѣлось тогда идти танцовать?"— "Нѣтъ", — отвѣчала она.— "Развѣ же ты не любила общество, танцы? Развѣ никто не ухаживаль за тобой?" -- "Напротивь, до страсти любила танцовать, и ухаживали за мной, и наверхъ приходили, на колъняхъ просили одинъ только туръ вальса сдёлать. Были тамъ, которыми и я интересовалась..." — "И ты ни разу не соблазнилась? "- "Нътъ". - "Но все-таки, послъ того, что ты сказала, не можешь же ты утверждать, что тебъ не хотълось идти?" -- "Тебя не хотвлось оставлять, боялась, чтобы съ тобой чего-нибудь не случилось безъ меня. А ну, какъ мамка бы тебя уронила!"... Какъ это просто! До старости дожила она и никакого особеннаго достоинства не видъла въ своихъ поступкахъ, а между тъмъ вся ея жизнь была цёлымъ рядомъ ежеминутныхъ мелкихъ и крупныхъ жертвъ. Такіе люди какъ будто спеціально созданы для самопожертвованія, и странно, всв обстоятельства ихъ жизни складываются, всв окружающіе ихъ стремятся, чтобы требовать отъ нихъ этихъ жертвъ, какъ чего-то должнаго.

Такъ всю жизнь, до самой смерти было и съ тетей: никому не приходило въ голову, что "Катенька"—тоже человъкъ, что "Ка-

теньки тоже могуть быть какія-нибудь желанія! Безь нея никто существовать не могь, безь нея никто не обходился, ея помощь требовалась, ежели нужно, но объ ея нуждахъ никто не думаль, и надо правду сказать, —она сама менье всьхъ. Съ машиной обращаются лучше: ее иногда смазывають, чтобы она легче шла, но, должно быть, здъсь и не требовалось подливать масла: живая машина шла себь шестьдесять льть своею прямою дорогой добра, безь всякаго поощренія, въ силу одной, присущей ей, высокой, неизсякаемой любви.

- Скажи, тетя, отчего ты замужъ не вышла?—допытывалась я, продолжая вышеприведенный разговоръ.
 - Да такъ какъ-то, —отвъчала она неохотно. —Одинъ разъ...
- Правда, ты любила П—ва?—перебила я ее.
- Да, любила... Вотъ, Катенька, я тебѣ скажу, когда я испытала силу молитвы. Хоть мы и не говорили объ этомъ, но я знала, что и онъ меня любитъ, и ожидала, что онъ посватается... Вдругъ приходятъ мнѣ сказать, что онъ женится... Когда я услышала объ этомъ, я думала, что умру, все во мнѣ перевернулось; казалось, вынести такую боль невозможно... Что дѣлать?.. Побѣжала я, знаешь, въ Грушину комнату, бросилась на полъ передъ образомъ Спасителн и такъ молилась, такъ горько молилась... И что бы ты думала? Точно отлетѣло все, и когда я встала, ужъ я его больше не любила. И такой покой былъ на душѣ! Я пошла внизъ спокойная, поздравила его и сказала, что желаю ему счастья.
 - Какъ онъ могъ такъ поступить съ тобой?
- Что-жъ! она была образованите и красивте меня и музыкантша...
- Все-таки онъ твоимъ другомъ остался?
- Да, только я не объ этомъ хотъла тебъ разсказать... Вотъ кого я очень, очень любила, и онъ глубоко былъ привязанъ ко мнъ, мы такъ во всемъ съ нимъ сходились, это III—нъ...
 - Ш—нъ!?
- Ты этого не подозрѣвала, потому что онъ послѣ этого совсѣмъ пересталъ къ намъ ходить... Это на дачѣ было; я знала, что онъ посватается, я такъ ждала... Онъ и просилъ моей руки, но...

Я замодчала, раскаявшись, что растревожила эти старыя воспоминанія.

Когда мнѣ было два года, родители мои уѣхали на годъ за границу и оставили меня на рукахъ тети. Какъ нарочно, я захворала въ эту зиму дизентеріей и стоила ей, бѣдной, много слезъ и безсонныхъ ночей. Заботамъ старика-доктора, по мнѣнію тети, а върнъе, ея собственному неустанному уходу обязана я была жизнью.

Въ отсутствие моихъ родителей тетя вела жизнь очень тихую и принимала, кромъ родныхъ, только самыхъ близкихъ ей людей, служащихъ въ академіи: г.г. Соколова, Полякова, братьевъ Поповыхъ, Ухтомскаго и еще нъсколькихъ человъкъ, которые павсегда остались ея искренними друзьями. Въ это время профессоръ Шамшинъ написалъ мой портретъ съ вънкомъ васильковъ въ рукахъ 1). Краски этого портрета замъчательно хорошо сохранились до сихъ џоръ; письмо картины не отличается той бойкостью, къ которой мы привыкли теперь, но выраженіе дътской головки върно схвачено: въ широко раскрытыхъ голубыхъ глазахъ переданъ тотъ полуудивленный, пытливый взглядъ, которымъ маленькія дъти какъ будто хотятъ понять еще мало знакомый имъ міръ; а между полуоткрытыхъ губокъ виднъется алый язычокъ. Чтобы заставить меня сидъть смирно, тетя держала передо мной привязанную на ниткъ муху.

У меня осталось отъ этого періода моей жизни одно необъясненное никѣмъ, но живое воспоминаніе: мнѣ все ясно представляется ярко освѣщенная бѣлая дверь, на которую я смотрю снизу. Такая дверь было именно въ комнатѣ, занимаемой нами съ тетей до возвращенія моихъ родителей; но какое событіе обратило на нее столь сильное мое вниманіе, — это осталось покрыто неизвѣстностью. Достоевскій говорить о такихъ фактахъ, когда главное событіе исчезаетъ изъ памяти, но навѣки остается какая-нибудь пустяшная подробность, его сопровождавшая.

Слъдующее мое дътское воспоминаніе относится къ пріъзду нашихъ изъ-за границы: я помню, что тетя хотъла передать меня кому-то съ рукъ на руки, но я цъплялась за нее, и она вынесла меня въ гостиную, куда въ эту минуту вошла дама въ черномъ и упала ницъ передъ образомъ. Эта дама была моя мать. Говорятъ, я очень боялась отца, пока онъ не сбрилъ бороды, которую отростилъ себъ за-границей; это понятно, такъ какъ тогда никто не носилъ бороды, и я помню, что гораздо позже, когда мнъ было лътъ шесть, я страшно испугалась господина съ бородою.

По прівздв моихъ родителей, тихая жизнь тети измѣнилась; старичка доктора замѣнили болѣе моднымъ врачомъ, ко мнѣ взяли разбитную няньку Варвару, которая моментально стала для меня ненавистной. "Няня, поди прочь! "— кричала я, какъ только она появлялась въ дѣтской. "Я здѣсь, батюшка", — отвѣчала она, при-

¹⁾ Портретъ этотъ находится въ Третьяковской галерей въ Москви.

водя меня такимъ отвътомъ въ еще большую ярость. Я настояла на своемъ: няньку перевели на другую должность, а меня попрежнему укладывала спать моя дорогая тетя и попрежнему баюкала своими нъжными пъсенками.

До четырехлътняго возраста мои воспоминанія очень туманны, кромѣ упомянутыхъ: бѣлой двери и пріѣзда родителей; изъ этого тумана неясно выплываетъ какая-то аллея съ массой желтыхъ лилій, какіе-то барашки и собака Арапка; потомъ дбразы становятся яснъе, хотя все еще являются мнъ отдъльными картинами, ярко выступающими изъ пустого пространства. Одно событіе різко запечатлівлось въ моей памяти: это-день рожденія моей сестры, мет шель тогда пятый годь. За ет сколько времени передъ рожденіемъ сестры Ольги, мама привела меня въ свою комнату и сказала: "Помолись со мной, чтобы у тебя родился братецъ". Я сейчасъ же стала на колени и громко помолилась, чтобы у меня родилась сестра. Мысль, что у насъ можеть родиться мальчикъ, сделалась почему-то настоящимъ кошмаромъ для меня. - И вотъ, разъ подъ вечеръ, я играла наверху въ своей дътской, когда вошла тетя, взяла меня на руки, и сказала, что у меня родилась сестра, что можно теперь пойти къ мамъ. Я расплакалась, крича: "Не хочу! не хочу! Неправда, вовсе не дѣвочка, навѣрное мальчикъ! Не хочу!"-и рыдала, и билась на рукахъ у тети, до самыхъ тъхъ поръ, пока не увидала люльки и въ ней что-то бълое. Почему, глядя на это нъчто, чего я даже не разсмотръла, я вдругъ убъдилась, что это сестра, а не брать, моментально успокоилась и обрадовалась — трудно объяснить, — это ужъ какая-то своя дътская логика.

Вскорѣ послѣ рожденія сестры, меня разлучили съ очень любимою мною кузиной моей Оленькой, той самой, которую выняньчила тетя. Такъ какъ ея падучая болѣзнь усилилась, то ее перестали пускать ко мнѣ, но мы никогда не забывали другъ друга и посылали другъ другу черезъ тетю разныя бездѣлушки. Одинъ изъ ея подарковъ сохранился до сихъ поръ. Сколько впечатлѣній, сколько радости и горя легло надъ этими неясными воспоминаніями, а между тѣмъ какіе-то цвѣточки въ какомъ-то орѣшкѣ трогаютъ меня всякій разъ, какъ я взгляну на нихъ. Зачѣмъ я не могла сберечь и наше любимое красное кожаное вольтеровское кресло, какъ сберегла орѣшекъ моей бѣдной Оленьки! Мой экипажъ, мой домъ, моя лодка и постель, оно представляется мнѣ живымъ участникомъ всѣхъ моихъ игръ.

Съ ранняго дътства я имъла свойство привязываться къ мъстамъ, вещамъ и относиться къ нимъ какъ къ одушевлен-

нымъ предметамъ; это заставляло меня въ дѣтствѣ очень беречъ свои игрушки, положительно страдать, когда онѣ ломались. Чѣмъ старѣе становилась игрушка, тѣмъ больше я ее любила. Меня иногда упрекали, что я не отдавала старыхъ игрушекъ бѣднымъ, но я не могла разставаться съ ними, мнѣ это представлялось какимъ-то предательствомъ по отношенію къ нимъ. Въ моихъ шкапахъ годами скоплялись игрушки и вещички: всѣ стояли въ обстановкѣ, которая мнѣ казалась для нихъ подходящей и пріятной; великое чувствовала я удовольствіе, когда, взгромоздившись на стулъ, чтобы достать верхнія полки, я сознавала, что все въ порядѣѣ и всѣмъ моимъ вещамъ живется хорошо.

Все лучшее въ моемъ дѣтствѣ связывается у меня съ воспоминаніями о нашей квартирѣ въ академіи и о какихъ-нибудь вещахъ или уголкахъ въ ней. Стоитъ мнѣ только подумать о моемъ дѣтствѣ, какъ квартира эта является предо мной во всѣхъ ея малѣйшихъ подробностяхъ; я часто вижу ее во снѣ, и тогда просыпаюсь съ печальнымъ и вмѣстѣ необыкновенно сладкимъ чувствомъ.

Дътская наша помъщалась на антресоляхъ и состояла изъ одной очень большой комнаты и другой нъсколько меньшей; изъ послъдней деревянная лъстница спускалась въ длинную, смежную съ залой, комнату, гдъ стоялъ, окруженный цвътами бюстъ моего отца. Наверху лъстницы были деревянныя перила, за ними большая лежанка, а между лежанкой и перилами мое любимое мъстечко. Тамъ я часто играла, тамъ наблюдала, какъ на святкахъ горничныя или барышни изъ гостей гадали: жгли бумагу или топили воскъ; какъ по воскресеньямъ, передъ пріъздомъ гостей, приготовлялись тетей закуски и раскладывались на подносы печенья и фрукты. Почему-то я особенно хорошо себя чувствовала въ эти послъобъденные часы по воскресеньямъ.

Не ожиданіе гостей радовало меня, а именно время всякихъ приготовленій передъ ихъ приходомъ. Какъ любила я въ это время нашу большую залу, ярко осв'ященную, съ ея блестящими б'ялыми статуями! На цыночкахъ проходила я рядомъ прибранныхъ, будто чего-то ожидающихъ комнатъ, и изъ таинственнаго полумрака голубой гостиной возвращалась къ св'яту сверкавшей залы. Все мнѣ казалось какимъ-то особеннымъ, чуднымъ, и это впечатлѣніе еще усиливалось страхомъ, что вотъ кто-нибудь позвонитъ, все мое очарованіе исчезнетъ, и я принуждена буду спасаться б'ягствомъ отъ гостей; къ посл'яднимъ я выходила нехотя, конфузилась, когда мамаша представляла меня имъ, упорно молчала, заставляя иногда спрашивать: "не проглотила ли я

язычовъ?" — и наконецъ водворялась подъ охрану тети, къ чайному столу. Тамъ, въ болъе интимномъ кругу, я шалила и болтала какъ сорока.

Сама лъстница, о которой я только-что говорила, играетъ также большую роль въ моихъ воспоминаніяхъ: по ея периламъ скользила я внизъ, съ ея нижнихъ ступенекъ училась прыгать, по ней летела разъ внизъ головой, прижимая къ груди какого-то зайчика, сидя на ней смотръла на фехтованіе отца. Это зрълище было очень мучительно для меня, ибо я принимала фехтованіе за настоящее сраженіе, и частыя повторенія его нисколько не убъждали меня въ его безопасности. Я садилась нарочно повыше, ибо и за себя страшно боялась, по никогда не позволяла увести себя, продолжала сидъть, прижавшись къ периламъ, и следить съ замираніемъ сердца и трепетомъ за каждымъ ударомъ, направленнымъ противъ отца. Это состояніе имѣло что-то мучительное и вибств притягательное для меня. Когда ученикъ и партнеръ моего отца Лялинъ, показывая на язвы, оставшіяся на его лицъ послъ оспы, говорилъ мнъ, что это сдълалъ мой папа своей рапирой, я безсердечно радовалась этому.

Въ нашей дътской стоялъ старый виртовскій рояль, который я очень любила, тъмъ болье, что я считала его обиженнымъ, съ тъхъ поръ какъ въ залъ появился новый, красивый инструменть. Тетя, по вечерамь, играла и пъла намъ, и я помню, какъ разъ горько расплакалась, потому что "отъ козлика остались ножки да рожки". Тетю никогда не учили пъть, но у нея былъ сильный, пріятный сопрано и такъ много чувства, что ея пъніе, не только въ дътствъ, но и впослъдствіи доставляло мив большое наслаждение. Когда тетя по вечерамъ садилась за рояль, горлицы, которыя жили въ нашей комнатъ на свободъ, садились на плечи тети, даже на ея руки. Спъвъ намъ нъсколько пъсенокъ и старинныхъ романсовъ, тетя заставляла меня убирать игрушки въ шкапчикъ, и такъ пріучила меня къ этому, что я не могла заснуть, не приведя у себя все въ порядокъ. Раздъвши меня, она ставила меня въ постелькъ на колъни, а я лепетала: "Господи помилуй папу и маму, младенца Екатерину и всъхъ", крестила свою подушку и "сворачивалась калачикомъ", тетя закрывала меня, цъловала, крестила, садилась возлъ меня, и н засыпала, держа ручонкой ен руку. Иногда меня оставляли довольно поздно въ гостиной; я тогда забиралась на кресло за спину отца и сладко засыпала; до сихъ поръ, вспоминая объ этомъ, я будто ощущаю, какъ уютно и хорошо мнъ было тогда за папиной спиной. Часто тетъ приходилось сонную уносить меня наверхь. Въ сумерки, когда было ещерано зажигать свъчи, я любила, поставивъ на диванъ большую подушку ребромъ и съвъ на нее такъ, чтобы ея концы загибались на меня (я называла это "сидъть въ облакахъ"), слушать разсказы тети о томъ, "какъ она была маленькая" и объ "Терезинькъ". Этотъ послъдній разсказъ, слышанный мною несчетное множество разъ, никогда не надоъдалъ мнъ; я такъ знала его, что поправляла тетю, когда она переставляла какое-нибудь слово, но все вновь и вновь заставляла повторять эту любимую исторію. Я хорошо помню этотъ разсказъ, гдъ играли роль пастушка Терезинька и пастушокъ Рудольфъ. Они пасли свои стада, дълили завтракъ, спускались вмъстъ къ ручью, чтобы напиться, онъ отыскалъ ей пропавшаго барашка, о которомъ она плакала, — однимъ словомъ, это была самая незатъйливая идиллія, но весь разсказъ былъ проникнутъ такой поэзіей и свъжестью, такой любовью къ природъ, что вся душа тети отражалась въ этихъ простыхъ, ею самой придуманныхъ, картинкахъ.

Часто вижу я себя въ одномъ изъ техъ темныхъ уголковъ, гдъ ютилась дорогая охранительница моего дътства (для нея всегда недоставало комнаты). Въ этомъ болве чвмъ скромномъ уголя всегда было особенно уютно и хорошо. Освъщается уголокъ изъ какого-нибудь окна въ корридоръ, или свътомъ, проходящимъ изъ другой комнаты надъ перегородкой (какъ быловъ академіи), и поэтому въ немъ царствуетъ полумракъ. На столъ чистенькая скатерть, стоять булочки и дымится кофе, удивительно вкусный кофе! На сундукъ, около стола, сидитъ моя двоюродная сестра Сонечка. Это дочь дяди Андрея, брата тети, работница, замънившая последнюю въ доме мачихи; она замучена, болезненна, съ въчно подвязанной щекой; въ гостиную къ намъ она ръдко ходитъ, но тетя любитъ и жалъетъ это несчастное и доброе существо. Сонечка монотонно, полушопотомъ изливаетъ свои обиды, а тетя хлопочетъ около кофе и вставляетъ иногда тихое слово утъшенія. Я сижу на скамейкъ, положивъ голову на кольни двоюродной сестры, и жду угощенія, которое кажется ми особенно вкуснымъ, потому что оно не своевременно и не входитъ въ обыкновенную программу дня; въ рукахъ у меня зайчикъ или собачка, подарокъ Сонечки. Гдъ взяла она, бъдная, денегъ, чтобы купить его? Навърное лишила себя необходимаго, чтобы доставить радость ребенку. Въ то время я не думаю объ этомъ, конечно, но дътское сердце мое чуетъ любовь, и никакія изъ моихъ роскошныхъ игрушекъ не нравятся мит такъ, какъ простенькія вещи, подаренныя Сонечкой или тетей. Безконечно

хорошо мнъ тамъ на скамеечкъ между ними двумя! Несмотря на горе, есть что-то тихое и мирное между ними, что-то хорошее, любовное... "Тетенька, вы — все для меня", — говоритъ Сонечка, уходя. Все была она и для меня: ничьи ласки не могли замънить мнъ ен ласкъ, ничей уходъ не могъ замънить ея нъжныя заботы. Одинъ только разъ я разставалась съ ней, это было во время одной изъ моихъ довольно частыхъ бользней. Тетя должна была ужхать на нъсколько дней въ Митаву, гдъ у нея умерла какая-то родственница. Меня окружали все люди, которыхъ я любила: прекрасная сестра милосердія, пожилая д'явушка Аннушка, которая съ безконечной нъжностью ходила за мной, и моя гувернантка m-me Levelle, которая души во мнв не чаяла, но я томилась по тетв, и никогда не забуду той безумной радости, которую я испытала, когда она вернулась, того тихаго счастья, которое наполняло меня всю, когда она цълые дни проводила, не отходя отъ моей постели, вывязывая моей куклъ крошечные фильдекосовые чулочки. Во всёхъ радостяхъ и скорбяхъ моего дётства вижу я передъ собой ея любящее лицо, на которомъ отражаются всъ эти скорби и радости.

of the same real supplies of $\mathbf{H}_{\mathrm{con}}$. Since on the second of the same supplies of $\mathbf{H}_{\mathrm{con}}$

Не говори съ тоской — ихъ нѣтъ, А съ благодарностію — были. Жуковскій.

Тетя Катя была любима всёми служащими у насъ въ домѣ, но вполнѣ оцѣнивала ее m-me Levelle, гувернантка, поступив-шая къ намъ, когда мнѣ было лѣтъ шесть; ей былъ вполнѣ ясенъ высокій нравственный образъ тети, она глубоко сочувствовала ей, жалѣла ее, даже сердилась на ея многотерпѣніе.

Раньше у меня было нѣсколько гувернантокъ, или бовнъ, которыхъ я совсѣмъ не желала знать. М-те Levelle я встрѣтила крайне недружелюбно, помню даже укусила ее въ первый же день, но скоро сильно привязалась къ ней. Это была такая же самоотверженная и любвеобильная натура, какъ и тетя, но характеры у нихъ были совершенно различные: у т-те Levelle не было и тѣни кротости, она была вся огонь и пламя. Она не могла выносить сдѣланной кому-нибудь несправедливости, моментально ополчалась въ защиту, налетала какъ вихрь на обид-

чика, кто бы онъ ни былъ, рѣзала правду въ глаза. Правдивѣе, честнѣе, прямолинейнѣе человѣка я не видала на свѣтѣ. Какъвсегда бываетъ съ горячими людьми, m-me Levelle въ пылу говорила много лишняго и потомъ чувствовала себя неловко, хотя по существу дѣла была права.

Эта женщина положительно жила со мной одной жизнью; она не снисходила ко мнъ, какъ старшая, а была со мной какъ съ равной: если она играла со мной въ карты или бирюльки, она сама заинтересовывалась игрой и искренно желала выиграть; она разсказывала мнв всв свои дела, сообщала всв свои горести и радости, читала письма своей единственной, разлученной съ ней дочери; всякій мой дурной поступокъ искренно и глубоко огорчалъ ее; однимъ словомъ, я чувствовала, что въ ея отношеніяхъ ко мнѣ ничего не было "нарочнаго", а все было "всамдѣлишное", и поэтому я никогда не скучала сънею, съ своей стороны, была съ ней вполнъ откровенна, принимала къ сердцу ея интересы, сочувствовала ея филиппикамъпротивъ несправедливости (когда онъ не были направлены противъ меня, конечно) и любила ее всей душой. Я была также вспыльчива, какъ и m-me Levelle, поэтому мы съ ней страшно ссорились, сладостно мирились и жили, все-таки, что называется, душа въ душу.

Много читала мнѣ m-me Левель и такъ избаловала меня, что я, одно время, не могла засыпать вечеромъ иначе какъ подъ ея чтеніе. Большею частью это были мои любимыя дѣтскія книжки: сказки Перро, "La poupée bien élévée", "Les enfants célèbres", "Le théatre de Berquin", "М-me Amable Tastue", "Les contes du chanoine Schmidt" и т. д., но иногда она читала вслухъ и такія книги, которыя интересовали ее лично, и главное, газету "Іпферендапсе Belge". Газетныя статьи казались мнѣ особенно скучными, но я вполнѣ понимала, что надо же m-me Levelle коть когда-нибудь и свои книжки почитать, а такъ какъ мнѣ нравился самый процессъ слушанья, то я поэтому не противилась, тѣмъ болѣе, что обыкновенно въ это время что-нибудь раскрашивала или вырѣзывала; мнѣ становилось даже интересно въ тѣхъ случаяхъ, когда m-me Levelle, со свойственной ей живостью, ударяя съ досадой рукой по газетѣ, начинала упрекать дипломатовъ и политиковъ во лжи, горячо восклицая: "Еh' que ne peuvent ils vivre en paix ces gens là! 1).

Свою давно покинутую родину пылкая француженка страстно

^{1) &}quot;Развѣ эти люди не могутъ жить мирно".

любила, и когда своимъ старческимъ голосомъ она напъвала мнъ: "Ce doux pays de France", по ен лицу съ довольно грубыми чертами катились слезы. М-те Левель благоговъла передъ моимъ отцомъ. Такого добраго и обаятельнаго человъка, какъ мой отецъ, не могла не любить и тетя, и всъ домашніе, но они его любили именно какъ прекраснаго человъка; моя же гувернантка, кромъ того, глубово цфнила въ немъ художника, энергическаго труженика, а главное, единственнаго человъка, который соотвътствовалъ ея идеалу честности и правды. Ей хотвлось, чтобы и я вполнъ оцънила его, и она постоянно говорила мнъ о немъ, обращала мое вниманіе на каждое его слово и на каждый его поступокъ, разъясняя, сколько было въ нихъ простоты, терпимости, высоты мысли и вмъстъ скромности, сколько любви къ свободъ и истинъ. Все это говорилось не въ видъ ръчей съ моралью на концъ, а урывками, отрывочными, но сильными, горячими фразами, которыя западали мнъ въ душу. Я сама страстно любила отца, но слова т-те Левель какъ будто разъясняли мнъ его, дълали еще дороже, а вмъсть и тъснъе сближали меня съ моей наставницей.

Другой общей нашей любовью была природа; мы были очень счастливы съ m-me Левель на нашей дачт въ Финляндіи и, весною, заранте радовались мысли, какъ мы съ ней будемъ собирать "les petits fruits rouges" (бруснику) въ нашихъ густыхъ сосновыхъ лъсахъ. Надо было бы написать цълый томъ, чтобы изобразить исторію встать нашихъ любимцевъ изъ міра четвероногихъ и пернатыхъ. Войдя въ нашъ домъ, m-me Левель привезла съ собой ручную канарейку, которая нъсколько лътъ утъщала насъ своими фокусами и, къ нашему большому горю, издохла наконецъ на рукахъ у своей плачущей хозяйки; бывали у насъ и морскія свинки, и бълки, и горлицы, но большею частью наши любимцы были "униженные и оскорбленные", подобранные на улицъ щенки и котята, вывалившіеся изъ гнъзда во время бури птенчики; послъднихъ мы часто лечили, выращивали и такъ приручали, что потомъ въ густомъ лъсу они прилетали откуда-то на нашъ зовъ, какъ въ волшебныхъ сказкахъ. Иногда мы съ m-me Левель ревновали другъ къ другу нашихъ звърьковъ.

Мое сердце трепетно билось отъ радости, когда мы весной сворачивали съ большой дороги въ березовую аллейку и въвзжали въ широкій, усыпанный гравіемъ дворъ нашей дачи около Выборга, но не менъе радостно замирало оно, когда мы осенью подъвзжали къ моей милой академіи. Мнъ и тамъ, и тутъ жилось хорошо; и тамъ, и тутъ были свои радости. Въ нашей

городской квартиръ каждый уголь быль мнъ дорогъ; меня ждали здъсь оставленные шкапы съ книгами и игрушками, веселая бъготня по большой залъ, кабинетъ отца. О, этотъ кабинетъ! Это былъ не кабинетъ, а цълый музей! Чего, чего въ немъ только не было! По стънамъ громадной залы со сводами и широкими окнами съ видомъ на Неву тянулись шкапы богатой библіотеки, на нихъ-всевозможные гипсовые слъпки: мелкія статуи отца, лошадки барона Клодта и какія-то прелестныя фигурки играющихъ, пляшущихъ и смѣющихся дѣтей и пр.; между шкапами висъли коллекціи бабочекъ и насъкомыхъ. На длинныхъ столахъ, составленныхъ вмъстъ и раздъляющихъ комнату надвое, были мраморныя и бронзовыя статуэтки, подвижная фигура рыцаря въ полномъ вооруженіи, образчики мозаикъ, стеклянныхъ работъ, собраніе монетъ, разныхъ ръдкостей, медали отца, инструменты, начатыя работы; изъ-подъ стеклянныхъ колпаковъ блестъли своими металлическими перьями чучелы колибри и oiseaux mouches... Всъ ящики столовъ и шкаповъ были наполнены рисунками и гравюрами. Въ глубинъ кабинета стоялъ большой мраморный бюсть императора Николая, заказанный имъ, но не взятый, такъ какъ показался ему похожимъ на памятникъ. "Что ты заранъе хоронишь меня?" — сказаль онъ по этому поводу моему отцу. Впоследствій бюсть этоть быль куплень Орловой-Денисовой. Тутъ же были бронзовыя, довольно большія модели вороть для храма Спасителя въ Москвъ, большая модель военнаго корабля... и перечесть трудно все, что десятками лътъ скоплялось въ этомъ хранилищъ! Для насъ, дътей, это былъ волшебный міръ, настоящій Эльдорадо. Сидя гдъ-нибудь на полу, мы вытаскивали изъ разныхъ угловъ цълыя массы самыхъ интересныхъ для насъ предметовъ и всякій разъ открывали чтонибудь новенькое: то старинныя карты, принадлежавшія какойнибудь прабабушкъ, то кастэтъ или фокусный ящикъ, выточенный изъ дерева когда-то самимъ отцомъ, то его заброшенный рисуночекъ... Потерянный среди всъхъ чудесъ кабинета, стоялъ простой столикъ бълаго дерева; за нимъ, въ прорванномъ ватномъ халатъ (отецъ никакъ не могъ разстаться съ нимъ и страшно разсердился, когда мама, наконецъ, потихоньку уничтожила его), съ длинной трубкой въ зубахъ, съ недопитымъ, остывшимъ стаканомъ чая, съ неизмъннымъ перомъ или карандашомъ въ рукахъ, сидълъ нашъ отецъ. Наша возня никогда не мъшала ему, и онъ отрывался отъ своей работы только чтобы улыбнуться намъ своей свътлой улыбкой, или, подозвавъ къ себъ, поцъловать наши "мордочки".

Кромъ удовольствій настоящей минуты, въ моемъ воображеніи уже съ осени начинали носиться образы едки и всякихъ будущихъ благъ. Съ какой интенсивностью чувства ждалась эта елка! Въ какое возбужденіе приходила я, когда срокъ приближался! Послѣдніе дни я уже ничѣмъ не могла заниматься и слонялась по комнатамъ "comme une âme en peine", какъ выражалась моя гувернантка. Наконецъ, хотя и медленно, но наступаль желанный день. Съ утра насъ запирали въ дътскую,— тамъ мы и объдали,—это быль томительный, но и чудный день. Вечеромъ насъ вели ко всенощной. Пройдя, на обратномъ пути, по сумрачнымъ коридорамъ академіи, мы вступали въ темную комнату и ждали... Вдругъ открывалась передъ нами дверь въ залитую свътомъ залу... Но кто не помнитъ изъ своего дътства подобныхъ же картинъ? У насъ на елкъ никогда не было постороннихъ дътей, но взрослые гости всъ играли и возились съ нами. Когда било двънадцать часовъ, я всегда убъгала на минуту въ дътскую, чтобы отъ полноты своего благодарнаго сердца помолиться, показать Богу, что я не забываю Его даже и въ минуты моего счастья.

Еще болъе чъмъ Рождество любила я Пасху и предшествующія ей недъли: вербную и страстную. На вербы мы ходили съ тетей сначала на нашъ Андреевскій рынокъ, гдъ также въ то время можно было купить качающихся на качеляхъ восковыхъ херувимовъ, а потомъ уже отправлялись въ экипажъ "на ту сторону", къ Гостиному Двору.

На страстной сильно занимали меня церковныя службы: потому ли, что посъщение церкви сопровождало въ моемъ дътствъ каждый праздникъ, потому ли, что насъ никогда не принуждали ходить въ церковь, а напротивъ, позволяли, какъ награду, или большое удовольствіе, но церковныя службы, въ особенности на страстной недълъ, оставили во мнъ неизгладимое впечатлъніе; до сихъ поръ когда я вхожу въ храмъ Божій, я чувствую себя опять ребенкомъ и проникаюсь какимъ-то сладостнымъ умиденіемъ.

Въ пятницу или субботу, моя другая тетя, Надежда Петровна, сестра отца, которая тоже жила съ нами и была большая рукодёльница, приносила массу шолковыхъ обръзковъ и нащипанную изъ нихъ корпію, и вся семья принималась за краску яицъ. На пресловутой лежанкъ, упомянутой выше, появлялся цълый рядъ вкусныхъ вещей, таинственно прикрытыхъ бѣлыми салфетками.

Передъ заутреней насъ клали спать, потомъ будили, одѣвали

въ бълыя кисейныя съ мушками платьеца, опоясывали-меня

голубымъ, а сестру розовымъ кушакомъ, и вели въ церковь, гдѣ мы въ эту ночь становились на клиросъ. Церковь была полнымъполна, и всѣ женщины были въ бѣломъ.

Послѣ того, какъ крестный ходъ удалялся, въ церкви дѣлалось тихо-тихо, — все будто замирало въ ожиданіи... Вдругъ издали начинало доноситься нѣжное пѣніе, что-то радостное закрадывалось въ сердце, постепенно росло и восторженно распускалось, когда въ распахнувшихся дверяхъ храма гремѣло торжественное: "Христосъ воскресе!" Начиналось шумное христосованіе съ знакомыми и незнакомыми, и насъ уводили домой, гдѣ на длинныхъ, покрытыхъ бѣлоснѣжными скатертями, столахъ пестрѣли всякія яства, бумажные цвѣты и красныя яйца. Гостей постепенно прибавлялось, но садились мы за столъ только послѣ возвращенія отца изъ дворцовой церкви, гдѣ онъ всегда слушаль заутреню. Христосовались мы со всѣми: со сторожами, мужиками и всякимъ, кто скажетъ намъ: "Христосъ воскресе!" Въ то время христосовались даже на улицѣ съ незнакомыми. Этотъ праздникъ надолго оставлялъ во мнѣ радостное свѣтлое настроеніе.

Неполонъ былъ бы разсказъ о моемъ счастливомъ дътствъ, еслибъ я не упомянула о моей тетъ Надъ и о тъхъ безчисленныхъ радостныхъ часахъ, проведенныхъ съ ней. Тетя Надя была уже старушкой, когда я начинаю ее помнить. Жила она на "другомъ верху", куда надо было подыматься по другой лъстницъ, чъмъ на "нашъ верхъ", по темной витой каменной лъстницъ. Тамъ у нен были три комнаты; двъ занимала она, а третью — состоявшая при ней л'єть сорокь горничная Аннушка (или Анна Васильевна, какъ почтительно называла ее прочая прислуга), на рукахъ которой впоследствии и умерла отъ глубокой старости тетушка. Надежда Петровна вела у насъ довольно обособленную жизнь; она объдала и завтракала съ нами, но, кром'в этого и торжественных случаевъ, спускалась со своего верху только затъмъ, чтобы взять у тети Кати ключъ отъ маленькаго буфетнаго шкапчика, гдв помвщался граненый графинчикъ съ водкой: "Я въдь еще сегодня не клюкнула", говорила она таинственно и весело нъсколько разъ въ день. Такое частое употребление кюммеля, однако, нисколько не дъйствовало на тетю и такъ же мало хмелило ее, какъ если бы она выпивала простую воду. Она была бодрая миніатюрная старушка, милая и добродушная. Ея "апартаменты", какъ она въ шутку выражалась, представляли своего рода музей, и крайне своеобразный.

Не собирала ты камеевъ Своею д'явственной рукой; Съ Венеръ-развратницъ, Прометеевъ Взоръ отводила съ чистотой.

Ты манускриптовъ не сбирала, Презря ихъ мудрость и года... Коль попадались—раздирала На четвертушечки всегда...

Картинъ ты тоже не скупала
Въ свой многосводный эрмитажъ,
Другая мысль тебъ запала,
Въ другой ты бросилась "паражъ".

Тебя коробка поразила, Ты новой мыслью процвёла, Ея всё формы изучила И въ эрмитажё завета.

Но сердце мудреца алкало: Любя коробку всей душой, Тебъ коробки стало мало, Ты захворала пустотой...

И вдругь, въ углу, о, случай странный, Явилась банка предъ тобой... и т. д. ¹)

Это стихотвореніе, конечно, утрируеть: въ "эрмитажъ" тетушки были и художественныя вещи; ей принадлежить та честь, что она сохранила дътскіе рисунки отца моего, художественныя вышиванія его матери и зам'вчательныя письма его старшей сестры; но справедливо то, что тетушка преимущественно коллекціонировала коробки, банки и стклянки. Коробки она тщательно и со вкусомъ обклеивала конфектными бумажками и картинками; одинъ шкапчикъ съ ящиками былъ весь полонъ самымъ разнообразнымъ ассортиментомъ этихъ предметовъ; другой, съ полками, былъ хранилищемъ всевозможной стеклянной посуды, отъ дорогихъ старинныхъ флаконовъ до аптекарскихъ бутылочекъ включительно. Надо замътить, что коробки были не пусты, — въ нихъ находились богат в й шія собранія шелковъ, крупнаго и мелкаго бисера, блестокъ, фольги, раковинъ, четокъ. Если къ тому прибавить, что комнаты были уставлены затъйливою старинною мебелью, божницей со множествомъ образовъ и цълой массой самыхъ разнообразныхъ орудій женскаго рукод'влія,

¹⁾ Изъ шуточнаго стихотворенія, поднесеннаго тетѣ М. Ө. Каменскою.

то станетъ вполнъ понятно, какъ блаженствовали мы, когда тетушка любовно раскрывала передъ нами всъ эти сокровища, и съ какими полными руками, а то и подолами, возвращались мы къ себъ.

Иногда въ комнатахъ тети Нади ожидало меня особенное удовольствіе, отъ котораго сконфуженно, но радостно билось мое сердце: я встръчала тамъ сестру мою, Марью Өедоровну Каменскую. Дочь первой жены моего отца, она была въ ссоръ съ моей матерью, у насъ не бывала, а проходила къ тетъ Надъ прямо наверхъ, или, изръдка, будто крадучись, пробиралась заднимъ ходомъ въ кабинетъ отца. Я не знала причины ссоры, знала только, что моя мамаша не любить Марью Өедоровну, но моя дътская душа чувствовала несправедливость, ненормальность въ томъ, что дочь тайкомъ видается съ отцомъ своимъ, и мнв было это больно. Я твердо была увърена въ душъ, что М. Ө. ни въ чемъ не виновата: развъ не пъловалъ ее также нъжно мой чудный отецъ? развъ могла быть виновата эта женщина, рыдающая на его плечь и потомъ такъ ласково улыбающаяся мнь полными слезъ глазами? И какая красавица, какая веселая, умная! Какъ интересно разсказываетъ, какъ кръпко цълуетъ! Я любила ее всей силой души моей, а между тъмъ что-то сковывало меня въ ея присутствіи; мнѣ было чего-то стыдно, я какъ будто чувствовала себя изъ противнаго лагеря, я какъ будто измѣняла кому-то, находясь съ ней. Это не была боязнь, что мама разсердится на меня, -- напротивъ, я была бы рада, еслибы меня бранили за М. О.,—это было инстинктивное ощущение какой-то вины нашей передъ ними—Каменскими. То же ощущение являлось у меня потомъ въ отношении дътей М. О., которыя впоследствіи стали довольно часто бывать у насъ. Это ощущение становилось у меня тъмъ сильнъе, чъмъ ласковъе были со мной М. Ө. и ея дъти.

Казалось бы, что вліяніе стольких хорошихь людей и такой радостной и свътлой обстановки должно было развить во мнѣ одни только добрые инстинкты, а между тѣмъ это было не такъ: хотя я была очень чутка къ чужой несправедливости и жалостлива къ чужому горю, но сама я поступала эгоистически и капризно съ тѣми, кого наиболѣе любила, и положительно жестоко—съ моей маленькой сестрёнкой, которая была фанатично, рабски и трогательно привязана ко мнѣ. Не взлюбила я ее съ самаго рожденія,—потому что она кричала и не давала мнѣ спать, а потомъ—потому, что она приставала ко мнѣ, мѣшала мнѣ даже своими нѣжностями. Въ отвѣтъ на ея ласки я колотила ее и всячески тиранствовала надъ ней, пока не произошелъ слѣдующій случай: восьми лѣтъ я захворала брюшнымъ
тифомъ, меня перевели внизъ, въ прежнюю билліардную, которая потомъ и осталась нашей дѣтской; сестру не пускали ко
мнѣ, чтобы она не заразилась. Разъ, въ сумерки, никого не
было въ моей комнатѣ, и какими-то неизвѣстными путями, какъ
котенокъ, неслышно пробралась ко мнѣ моя сестра.

— Тятитя (Катенька), моня къ тебъ? — услышала я около моей постели ея робкій голосокъ. Мнѣ было скучно одной, и я великодушно помогла ей вскарабкаться на мою постель. Она принесла мнѣ какую-то только-что подаренную ей коробку оловянныхъ солдатъ (она всегда все отдавала мнѣ, а я, напротивъ, всегда строго запрещала ей трогать мои вещи). Мы немного поиграли, мнѣ было тяжело, къ тому же совсѣмъ стемнѣло, сестра забралась ко мнѣ подъ одѣяло, обвила мою шею руками, и, кажется, мы объ заснули. Большой переполохъ поднялся въ домѣ, когда насъ застали въ этомъ положеніи. Сестра, дѣйствительно, заболѣла послѣ этого тифомъ и была гораздо опаснѣе меня; я же въ тотъ день впала въ безсознательное состояніе и узнала о болѣзни сестры, когда уже стала выздоравливать. Мысль, что сестра заболѣла изъ-за меня, приходила мнѣ въ голову, но скоро забывалась: меня баловали и лелѣяли больше, чѣмъ когда-нибудь.

Но вотъ разъ, когда я уже была на ногахъ, мнъ сказали, что Оля въ бреду все зоветъ меня, и что доктора велъли привести меня къ ней. Что сталось со мной, когда я увидала на кровати худое, старчески сморщенное личико, со страшными черными губами, совствить не похожее на прежнюю Олю! Я стояла, пораженная. Вдругъ странные, мутные глаза остановились на мнъ, въ нихъ блеснуло что-то, изсохшая ручонка сдълала слабое движеніе, запекшіяся губки сложились въ блёдную улыбку, и изъ нихъ вылетъло тихое, но радостное: "Тятитя!" Невыразимый наплывъ жалости и раскаянія охватиль меня. Я могла успокоить себя, только объщая тайно себъ и Богу, что никогда, никогда не буду больше обижать ее. Хотя съ тъхъ поръ я не прибъгала больше къ кулачнымъ расправамъ и стала дружнее съ сестрой, но когда впечатление изгладилось, я опять, особенно впоследствіи, подъ вліяніемъ одной девочки-англичанки, которая жила у насъ для практики англійскаго языка, бывала несправедлива къ сестръ, и моя т-те Левель часто качала головой, называя меня эгоисткой и предсказывая мнт, что я не буду счастлива съ такимъ "vilain caractère".

Большимъ благомъ для меня было, что меня окружали теплою любовью прекрасные люди; это посвяло въ мою душу все, что есть въ ней добраго, но дурно было, что меня слишкомъ баловали и слишкомъ мало отъ меня требовали. Я была какъ будто центромъ, около котораго вращались всв эти любящіе люди, и не мудрено, что во мнъ развивалось самомнъние и эгоизмъ, а отъ полнаго отсутствія выдержки являлись раздвоенность и безхарактерность: я вполнъ сознавала, когда поступала дурно, и сильно потомъ каялась, но "не могла удержаться" — по собственному моему выраженію. Мои окружающіе не говорили мнъ, что за все добро, которое мев двлали, надо было и съ моей стороны чъмъ-нибудь отплачивать; они отъ полноты души своей отдавали мий свою беззавитную любовь, и въ той же любви находили себъ награду. Человъку, съ начала жизни избалованному такой любовью, трудно потомъ приходится, но еще хуже не знать такой любви: когда человъкъ, поборовшись съ жизнью, придетъ къ пониманію, эта прежняя любовь засіяетъ передъ нимъ яркимъ, спасительнымъ маякомъ.

Тотъ, кто прочтетъ эти записки, въроятно, замътитъ, что я до сихъ поръ почти не говорила о своей матери, и, можетъ быть, подумаеть, что она не играла большой роли въ семьв; на самомъ же дёлё она была въ полномъ смыслё слова главой въ домъ: безъ ея разръшенія не смъли даже повести насъ гулять, но такъ сложились мои воспоминанія, что я ее почти совсёмъ не помню въ ранній періодъ моего дётства. Отца я вижу передъ собой, какъ живого, въ каждую минуту нашей жизни: утромъ, когда мы влетаемъ, какъ ураганъ, здороваться съ нимъ, за завтракомъ и объдомъ, помню его манеру ъсть, его любимыя кушанья; помню его пріемы за всякой работой, вижу его за неуклюжимъ крашенымъ мольбертомъ, за столомъ со стекломъ въ рукахъ, въ мастерской -- сглаживающимъ своимъ гибкимъ пальцемъ шероховатость глины, вечеромъ-выръзывающимъ намъ кониковъ и санки изъ картъ или раскладывающимъ пасьянсъ. съ зеленымъ зонтикомъ на глазахъ; слышу его голосъ, когда онъ кричитъ старому унтеру Шилову: "подай трубку!", слышу даже слова этого самаго Шилова, когда я бъгу оповъстить его. что папа зоветь: "совсвит я старый травяной мышокт сталь". Такъ же помнятся мнъ и всъ домашніе, въ ихъ ежедневной обстановкъ и послъдовательной жизни; мама же представляется мнъ какъ будто сквозь какую-то дымку. Точно во снъ, является она мнъ безсвязно и отрывисто: то на подмосткахъ въ костюмъ Федры, то прощающаяся съ нами передъ выбздомъ на вечеръ,

то въ маскъ, то съ чудными распущенными волосами... Въроятно, моя мать, какъ большинство тогдашнихъ дамъ, вела свътскую жизнь. Она могла дълать это тъмъ спокойнъе, что имъла около дътей такихъ върныхъ и превосходныхъ стражей, какъ тетя и m-me Левель.

man principal and the second of the second o

Visions of childhood! stay, oh, stay!
Ye were so sweet and wild!

Longfellow.

Какъ и когда я выучилась читать и писать, я ръшительно не помню; знаю только, что въ день, когда мнъ минуло восемь лътъ, мнъ подарили нъсколько книжекъ, между которыми меня очень заинтересовали двъ, и которыя я тотчасъ же и прочла: "Bob l'écureuil" и "La poupée bien élevée". Послъдняя въ особенности мит такъ поправилась, что я подаренную мит тутъ же куклу назвала "Lolotte", именемъ героини вышеназванной книги, и решила, что я тоже буду ее воспитывать. Куклу я полюбила, потому что она была толстенькая, съ дътскимъ личикомъ. Со всеми прочими моими куклами я обращалась какъ съ игрушками, раздевала и одевала ихъ, бросала по разнымъ мъстамъ, но "Lolotte" была моя "дочка". У нея была своя комната въ углу детской; комодъ ен былъ полонъ белья, кроватка ен всегда оправлялась; утромъ н одъвала свою дъвочку, кормила ее, учила, повторян ей свои уроки; вечеромъ укладывала ее спать, ставила ей на ночной столикъ воды, цъловала ее и, да простить мнъ Господь, крестила. Я подолгу сидъла и разговаривала съ ней и любила ее, какъ живого человъка.

Кажется, я прежде научилась читать и писать по-французски, чёмь по-русски. Русскихъ книгъ для дётей въ то время было очень мало; въ моей богатой французскими и англійскими книгами библіотек'в долгое время существовали только три русскія сочиненія: "Притчи Хемницера", въ хорошенькихъ бёлыхъ съ золотомъ переплетахъ, которыя мнів казались очень скучными; "Новый Емеля", подаренный мнів ківмъ-то изъ прислуги, и "Иванушка" Сапожникова. Послідняя была хорошая дітская книжка. Послів "Иванушки" я прямо перешла на чтеніе нашихъ классиковъ. Здітскимъ чтеніемъ, и какъ писатели, желающіе преподать дітямъ мораль, часто наводять ихъ на самыя дурныя

мысли. Ко мнъ въ руки попали двъ дътскія французскія пьесы: въ первой изображалась одна дурная дъвочка Октави и двъ добрыя дівочки, ея младшія сестры. Во время всего дійствія всъ постоянно упрекали Октави, читали ей мораль, а сестеръ все время расхваливали. Девочки собирались ехать на рожденья къ бабушкъ. Октави въ раздражении мяла подарки и платья сестеръ, онъ плакали, но мамаша приводила все въ порядокъ и увозила ихъ, оставивши горячку, въ наказаніе, одну дома. Мораль: "il ne faut pas être colère et envieuse". Какъ всегда въ такихъ случаяхъ, Октави вышла у автора жизненна, рельефна и симпатична, а ея сестры—неестественными куклами. Со свойственной дътямъ способностью относиться къ прочитанному, какъ къ дъйствительности, я горячо принимала сторону Октави, понимала ее и сочувствовала ей, даже жальла, что не могла вивств съ ней помять бвлыя кисейныя платья ея деревянныхъ сестеръ, которыя такъ смирно стояли и такъ доброд тельно выговаривали свои противные "oui, chère maman", или— "non, chère maman". Въ другой пьесъ (другого автора) изображалась очень интересная и очень фантастическая барышня, которая таяла и умирала на глазахъ своей огорченной семьи. Ни родители, ни доктора, не повимали ея болъзни. Изнеможенная, блъдная, умирающая лежала она въ чудномъ саду, когда дъло, наконецъ, разъяснилось: дъвочка умирала, потому что думала, что мать любить младшую сестру больше, чёмь ее. Эта безнравственная книжка, въроятно вслъдствіе описанной въ ней лживо-поэтической обстановки, имъла на меня сильное вліяніе: я начала воображать себя такой же непонятой девочкой, такъ же поэтически "jalouse".

У насъ бывало много дътей на танцклассахъ и по праздникамъ: кромъ живущихъ въ академіи, бывали дъти Птакеншнейдеры, Висковатые, сынъ нашего доктора Геринка (позже извъстный пъвецъ Корсовъ), также Оедя Каменскій и его граціозная сестра Нюта. Но не могу сказать, чтобы я была особенно близка со всъми этими дътьми, чтобы мнъ было съ ними особенно весело. Это происходило потому, что въ планъ воспитанія моей матери не входило, чтобы они имъли на меня какое-нибудь вліяніе, и она всегда устраивала такъ, чтобы въ нашихъ играхъ принимали участіе и взрослые. Мнъ было пріятнъе проводить время съ сестрой: у насъ съ ней было богатое воображеніе, у насъ были свои излюбленныя игры, въ которыхъ дъйствіе никогда не повторялось, а всегда шло впередъ; мы часто разсказывали другъ другу, или желающимъ насъ слушать, тутъ

же сочиняемыя сказки. Въ особенности сестра была въ этомъ отношении неистощима, и у нея постоянно проявлялся юморъ, чего у меня не было. Она была дѣвочка смѣтливая, острая, была не прочь и подразнить,— "petite futée", называла ее m-me Левель,—но доброты была удивительной; она готова была сейчасъ же все отдать, что имѣла, чтобы доставить кому-нибудь удовольствіе.

Но самымъ любимымъ моимъ товарищемъ все-таки оставалась тем Левель. Я еще охотно играла съ дътьми, когда они приходили къ намъ, или когда мы сходились въ академическомъ саду, самой же идти въ гости было мнъ сущимъ наказаніемъ. Одинъ домъ составляль для меня исключеніе, это — домъ барона Клодта. Хотя я позже, чёмъ съ другими дётьми, познакомилась съ его дочерьми, но сошлась гораздо ближе и искрениве. Я помню, что въ первый разъ почувствовала къ нимъ симпатію, когда увидала ихъ въ церкви, послъ смерти ихъ матери: онъ были въ черномъ, съ заплаканными глазами, усердно молились, и мит было ихъ очень жалко. Къ нимъ я всегда отправлялась съ большой радостью, у нихъ въ домъ было что-то особенное, какой-то свой определенный характеръ, что-то простое, уютное и содержательное. Дружнъе всего я была съ Върочкой, дъвочкой моихъ лътъ, но всъ въ этой семьъ мнъ нравились: и старшія дъти, такія ласковыя съ нами, меньшими, и гувернантка ихъ, Елена Николаевна Геммеръ, которую мы попросту звали Лёленькой, а главное, самъ Петръ Карловичъ: открытое лицо его, правдивость, несколько грубоватая откровенность, мягкость и доброта, сквозившая сквозь напускную ръзкость, веселыя шутки, даже его манера приходить въ столовую en manches de chemise, все въ немъ было оригинально и привлекало меня. Онъ всегда являлся моему воображенію олицетвореніемъ настоящаго художника. Какъ живо помню я его въ его громадной мастерской на литейномъ дворъ академіи, гдъ копошился цълый міръ животныхъ, и онъ, между своими обезьянами, медвъжатами, и живыми, и изваянными, казался повелителемъ какого-то сказочнаго цар-

Не тянуло меня къ другимъ дътямъ еще и потому, что у меня дома былъ цълый свой міръ, достаточно интересный и богатый.

Должно быть, съ кровью отца унаслѣдовала я страстную любовь къ древнему міру, и воспитывалась я въ проникнутой этимъ міромъ атмосферѣ: античные статуи и бюсты, которые украшали нашу залу, галереи академіи, гдѣ я бѣгала свободно,

когда хотъла, чудные рисунки отца къ поэмъ "Душенька", произведенія Флаксмана, копіи съ древнихъ урнъ и помпейскихъ
фресковъ, медали отца, все это было мнъ близкое, родное, все
это входило въ мою жизнь, составляло ея элементы, всъмъ этимъ
я дышала, все это горячо любила и все это я какъ-то сливала
въ одно общее съ моимъ отцомъ, который былъ для меня воплощеніемъ физической и душевной красоты.

Скульптура привлекала меня въ дътствъ гораздо больше, чъмъ живопись. Музыка также имъла на меня сильное вліяніе; меня никогда не могли уложить спать, когда у насъ играли или пъли, а это случалось очень и очень часто. Особенно връзалось мнъ въ память пъніе г-на Мано, у котораго быль дивный теноръ (съ тэмбромъ Маріо, какъ говорили мама и тетя). Чтобы слушать его, я садилась обыкновенно въ голубой гостиной, смежной съ залой; тамъ горълъ одинъ только бълый алебастровый фонарь; необыкновенно мягкій, матовый свътъ его, играя на блъдно-голубыхъ драпировкахъ, давалъ этой комнатъ неземной, фантастическій видъ, и божественные звуки романсовъ Глинки, казалось, лились въ нее изъ какого-то невъдомаго міра.

Самого Глинки я не помню, но много слышала о немъ отъ домашнихъ; всв они были отъ него въ восторгв и разсказывали чудеса объ его пвніи: у него совсвит не было голоса, но онъ такъ выразительно пвль, такъ вкладываль въ пвніе свою душу, что заставляль то смвяться, то плакать слушателей. Наши говорили, что Вильбуа пвлъ "Ночной смотръ" и посвященную моему отцу "Virtus antiqua" совершенно по манерв Глинки, и поэтому я особенно любила слушать эти двв пьесы. Помню я также полное энергіи и выразительности пвніе Н. А. Рамазанова; онъ пвлъ большею частью комическіе, полуштальянскіе, полурусскіе романсы своего сочиненія; необыкновенно живо, напр., у него выходило—сильнымъ басомъ грохоталь исповвдникъ: — "И ты двери отворила? Santa Trinita!" — тонкимъ сопрано отввчала обиженная signorina: "Что ты, радге, отворила?!... Дверь была не заперта"...

У Рамазанова была замѣчательно талантливая и богато одаренная натура. Сколько было въ немъ неподдѣльной веселости, юмору и искренности; казалось, что вся душа его была на ладонькѣ, и это было тѣмъ привлекательнѣе, что душа была прекрасная. Рамазановъ былъ горячій поклонникъ Италіи и съ любовью вспоминалъ о ней. Когда собирались къ намъ наши профессора: А. П. Брюлловъ, Бруни, Басинъ, Марковъ, Тонъ, Пименовъ и другіе, тогда воспоминаніямъ и толкамъ объ Италіи конца не было; часто даже они говорили между собой по-итальянски. Въ моемъ дътскомъ воображении рисовалась эта поэтическая страна почти такою же, какою я ее нашла въ дъйствительности, много лътъ спустя: я встрътила всъ эти скалинады, аквадуки, розы, всъхъ красавицъ-чечарокъ, какъ старыхъ знакомыхъ...

Кром'в нашихъ профессоровъ и молодежи, бывали у насъ въ это время и кое-кто изъ литераторовъ, уже кончавшихъ свое поприще; я помню Греча, Плетнева, съ которымъ отецъ былъ всегда въ хорошихъ отношеніяхъ, супруговъ Глинокъ и Кукольника. Посл'єдній былъ очень добрый, но безхарактерный челов'єкъ; онъ сд'єлалъ неудачную женитьбу и изъ веселаго собес'єдника и собутыльника сталъ мрачнымъ; наши вс'є его очень жал'єли. Несмотря на то, что онъ былъ некрасивъ собой, въ его лиц'є было что-то весьма привлекательное, какое-то безконечное добродушіе. Я слышала, что онъ былъ зам'єчательный импровизаторъ; къ сожал'єнію, изъ его импровизацій сохранились только шуточныя вещи, сказанныя большею частью на-весел'є.

Большой пріятель отца моего быль Өедоръ Николаевичь Глинка. Они были друзья со школьной скамьи, и, въроятно, эти раннія воспоминанія связывали ихъ. О. Н. быль когда-то въ числь либеральной молодежи, быль, какь отець мой, масономь, участвоваль вмъсть съ нимь въ устройствъ ланкастерскихъ школъ и общества "зеленой книги", быль другомъ декабристовъ, но когда я знала его, онъ представлялъ совершенную противоположность моему отцу. Отецъ продолжаль быть твмъ, чвмъ онъ быль прежде: горячимъ защитникомъ всего свъжаго, молодого, сочувствующимъ всякому движенію впередъ, всякому благому начинанію, съ яснымъ, широкимъ взглядомъ на вещи, - Өедоръ же Николаевичъ весь ушелъ въ чинопочитаніе, въ ханжество, въ мелочное обожаніе своего я; стихотворенія его были полны кваснымъ патріотизмомъ, на все новое и молодое онъ нападалъ. Какъ-то разъ онъ подарилъ мнѣ медвѣдя изъ папье-маше, въ очкахъ, пишущаго на доскъ; къ нему было приклеено слъдующее стихотвореніе (переписываю правописаніемъ подлинника):

Чивилизація.

Прогрессь! прогрессь!
И я медвъдь, покинувъ лъсъ
Съ консервативною своей берлогой
И, съ въкомъ наравит, пошелъ иной дорогой
Въ чивилизации искать чудесъ;
И, разумъется, я пересталъ дичиться
И захотълось мнъ съ людьми сойтиться—

И высмотръть, что тамъ у вихъ и какъ?... Но что жъ?... Не будь ихъ чести въ томъ обида,— И научился я у пихъ-курить табакъ, А книгу, такъ себъ, держать въ рукахъ,—для вида!!

Однако Ө. Н. не былъ желчнымъ человъкомъ, напротивъ, онъ быль мягкій и добрый; мы, діти, очень любили его; не могу того же сказать о его супругь, которая была дружна съ моей матерью, но которую мы терпъть не могли. Вообще, курьезная парочка были эти супруги: оба — поэты и оба влюблены въ лиру другъ друга. Глинка былъ маленькій, черненькій, сморщенный старичокъ, съ очень добродушнымъ личикомъ; онъ всегда носилъ массу орденовъ; Щербина называлъ его ходячимъ иконостасомъ и пресерьезно увърялъ, что бабы къ нему прикладываются, и что Ө. Н. даже купается въ орденахъ: самъ онъ плыветъ на большихъ пузыряхъ, а его ордена-вокругъ на маленькихъ. Авдотья Павловна была тоже невелика ростомъ, но была дама рѣшительная и на окружающихъ смотръла свысока. На нее сочинялъ Щербина нескончаемые акаеисты: "радуйся, съдыхъ локонъ взбиваніе! радуйся, старыхъ костей обнаженіе! радуйся, плохихъ виршей сплетеніе! радуйся, мерзкихъ книжонокъ писаніе! радуйся, м'бдныхъ пятаковъ раздаваніе! Евдокія треклятая, радуйся!" и т. д. Дъйствительно, ея съдые локоны были какъ-то особенно пышны и платье она носила, несмотря на свой преклонный возрасть, болже или менже декольтэ, даже днемъ. Сидя за чаемъ, она брала печенье, нюхала его и, найденное достойнымъ, собирала, чтобы отнести своимъ собачкамъ, которыхъ иногда по очереди брала къ намъ въ гости. Болъе отвратительныхъ собачонокъ трудно себъ представить, - всъ онъ были маленькія, съ слезящимися глазами, избалованныя, злыя; звали ихъ: "Капля", "Крошка" и т. п. нъжными, но неподходящими къ нимъ именами. Всякій гость, входящій въ квартиру Глинокъ, былъ встрівчаемъ лаемъ, визгомъ и безсильными попытками укусить за ногу цёлой стаи этихъ отвратительныхъ созданій, и долженъ быль, чтобы сділать удовольствіе хозяйкъ, находить это премилымъ. Въ гостиной Глинокъ находилась на самомъ виду витрина, гдъ были разложены ордена Ө. Н.; на стънъ висъла арфа Авд. П., на которой она, кажется, довольно хорошо играла. Но интереснъе всего было чтеніе поэмы Ө. Н.: "Божественная капля"; это было настоящимъ священнодъйствіемъ. Происходило оно или на ихъ квартиръ, или у насъ. Приглашались только достойные, "могущие вифстить". Въ залъ устраивалось возвышенное мъсто, на которомъ ставился столъ и

два стула рядомъ; на столъ зажигались свъчи, ставилась сахарная вода и самыми восторженными поклонницами съ таинственною осторожностью раскладывались фоліанты рукописи. Для слушателей ставились кресла полукругомъ; всѣ разсаживались заблаговременно и, предвкушая блаженство, тихо восторгались поэмой... Вдругъ всѣ смолкали, и авторъ съ женой молча всходили на свою трибуну... За симъ, неукоснительно, происходилъ слъдующій разговоръ: "Ма chère, кто начнетъ?" — "Ты, конечно, то cher". — "Нътъ, та chère, ты". — "Ты, какъ авторъ, долженъ лучше читатъ". — "Увъряю тебя, та chère, что ты гораздо лучше меня читаешъ". — Наконецъ, кто-нибудъ начиналъ; и мужъ, и жена, читали совершенно одинаково: патетично, пъвуче, монотонно. Никогда не забуду мученій, которыя доставляли мнѣ эти чтенія! А между тѣмъ я была бы очень обижена, еслибы меня избавили отъ нихъ: дъло въ томъ, что присутствовать при чтеніи "Капли" считалось большою честью, и меня на всв лады прославляли разныя дамы за то, что я удостаивалась этой чести. "Quelle admirable enfant!" восклицала одна изъ самыхъ увлекающихся поклонницъ поэмы: "какъ она слушаетъ, еслибы вы знали! Si jeune и такъ слушаетъ!" Я старалась, всёмъ сердцемъ старалась оказаться на высотѣ этихъ похвалъ и дѣлала все возможное, чтобы "такъ слушатъ", но продолжительное, однообразное чтеніе неотразимо клонило меня ко сну, и я, что называется, "клевала носомъ"... Я вздрагивала, съ ужасомъ озиралась: не замътилъ ли кто, дълала невъроятное усиліе, чтобы не давать опуститься усталымъ въкамъ, изо всъхъ силъ таращила свои глазенки, но все было напрасно: передо мной разстилался какойто туманъ, комната дълалась большою, присутствующіе уходили куда-то въ глубину, голосъ читающаго неясно доносился изъ какой-то дали... Эта борьба со сномъ была ужасна, но еще ужаснье были мои угрызенія совъсти, когда меня потомъ хвалили; я чувствовала, что своимъ молчаніемъ я лгу, а признаться было свыще силъ моихъ. Не всегда, однако, я дремала во время чтенія "Капли", —многое изъ нея до сихъ поръ осталось у меня въ памяти. Сюжетъ поэмы быль заимствованъ изъ апокрифическаго сказанія о бъгствъ пресвятой Дъвы Маріи въ Египетъ. Преданіе это повъствуетъ, что въ какомъ-то ущельъ на святое Семейство напали разбойники и хотъли умертвить всъхъ, но одна изъ женщинъ табора остановила разбойниковъ словами: "По-смотрите, какой у этой женщины цвътущій и прекрасный мла-денецъ, а мой умираетъ отъ истощенія! Пусть она накормить моего ребенка!" Пресвятая Дъва взяла больного ребенка и приложила къ своей груди: ребенокъ, глотнувъ святого молока, на глазахъ у всѣхъ исцѣлился и расцвѣлъ. Разбойники, пораженные чудомъ, отпустили путниковъ съ благодарностью. Глинка описываетъ въ своей поэмѣ параллельно жизнь Христа и разбойника и сводитъ ихъ на крестѣ, гдѣ разбойникъ, воспріявшій божественную каплю молока Богородицы, говоритъ Христу: "Помяни мя, Господи, егда пріидеши во царствіе Твое!" Мнѣ казалась скучной та часть, гдѣ Евангеліе переложено въ стихи, но мѣста, гдѣ описывалась жизнь разбойника, въ особенности гдѣ онъбродитъ одинъ по пустынѣ въ непонятномъ для него томленіи, или когда что-то въ немъ удерживаетъ его, помимо его воли, отъ убійства, мнѣ очень нравились, а также нѣкоторыя описанія природы. Въ общемъ поэма, должно быть, была длинна и скучна, такъ какъ я никогда не засыпала, когда читали у насъ чтонибудь другое.

Впрочемъ, можетъ быть тутъ игралъ роль мой вкусъ, тогда довольно оригинально развитой, собственный вкусъ: въроятно, "Телемакъ" Фенелона скученъ не менъе поэмы Глинки, а я перечитала его нъсколько разъ подъ-рядъ, ибо все, что касалось древняго міра, было мнѣ интересно, даже миеологическіе словари. Можно себъ представить, какъ я была счастлива, когда узнала, что ъдетъ къ намъ Рашель. Я заранъе запаслась Корнелемъ и Расиномъ и начала упиваться ими. Трудно себъ теперь представить, но это фактъ, что я десяти лътъ тайкомъ до часу ночи зачитывалась этими произведеніями и до того восторгалась, что пришла въ негодованіе, когда кто-то сказалъ мнѣ, что есть еще болъе велигій писатель, котораго я еще не знаю—Шекспиръ, и я заявила, что этого быть не можетъ.

Наконецъ, меня повезли смотръть Рашель въ "Андромахъ". Спектакль этотъ произвелъ на меня такое сильное впечатлъніе, что я и теперь могу судить объ игръ этой артистки — такъ я ее живо помню. Она и теперь стоитъ передъ моими глазами: величавая, пластичная, съ трагичнымъ и страстнымъ лицомъ, съ темнымъ блескомъ глазъ, какъ античная статуя, загоръвшаяся вдругъ пламенемъ жизни; я будто слышу ея мелодичный пъвучій голосъ, ея сдержанный шопотъ, который громче крика раздавался по затаившей дыханіе залъ. Молча вышла я изъ ложи и молча съла въ карету. Со мной сдълалось нъчто, никогда еще неиспытанное: что-то спиралось въ груди, что-то рвалось изъ меня; я испытывала чувство восторга такого сильнаго, что, мнъ казалось, оно задушитъ меня... и вотъ я разразилась истерическими рыданіями... Дома уже я перешла въ радостно восторженное со-

стояніе, стала разсказывать, говорить монологи, стараясь изобразить интонацію и жесты артистки, и долго не могла заснуть отъ волненія. Рашель я видёла еще разъ въ "Федрів", и ея игра, если это возможно, еще боліве плівнила меня. Страшинскій нарисоваль мнів тогда въ альбомъ сцену изъ "Андромахи", а отець подариль очень похожій акварельный портреть Рашели: обів вещи хранятся у меня до сихъ поръ. Къ сожалівнію, у меня пропаль автографъ знаменитой артистки: очень любезное письмо, которымъ она благодарила отца за поднесенный экземпляръ "Душеньки". Почеркъ у нея быль мелкій, сжатый и строчки шли совсёмъ вкось.

10-го октября 1854-го года, праздновался въ академіи 50-тилътній юбилей моего отца. Кромъ чествованія отца, на этомъ актъ должно было имъть мъсто событіе, тоже очень интересовавшее меня: въ первый разъ въ моей жязни женщина (Сухово-Кобылина) получала золотую медаль отъ академіи. Хотя я еще въ то время ничего не слыхала о "женскомъ вопросъ", но инстинктивно была довольна, что женщина удостоилась такой чести, и мит очень хоттлось посмотрть, какъ при звукт торжественнаго туша будеть ей вручена медаль, но, къ сожальнію, я была нездорова и меня не пустили. Послъ акта въ залъ академіи быль данъ моему отпу завтракъ, который затянулся очень долго. Время клонилось уже къ вечеру, когда намъ кто-то доложиль, что всв профессора уже на-весель и что они отца несуть по лъстницъ на рукахъ; мама ужасно всполошилась, увъряя, что они непремънно уронятъ папу, и всъ высыпали за двери въ коридоръ, откуда неслись неистовые крики "ура!". Однако, отца внесли въ нашу квартиру благополучно, но профессора дъйствительно были очень красны и веселы, особенно Рамазановъ.

Кромѣ оффиціальнаго празднества въ академіи 18-го декабря, отцу былъ данъ обѣдъ художниками, литераторами и знакомыми, на которомъ и мы присутствовали. Это было вполнѣ дружеское, единодушное собраніе: все было просто, искренно и безконечно весело. Что тутъ говорилось рѣчей, стихотвореній, экспромптовъ! Послѣ обѣда устроился прелестный вечеръ, гдѣ читались нашими поэтами ихъ посвященныя отцу стихотворенія, гдѣ Петровъ и его жена, бывшая прежде знаменитой пѣвицей, пѣли привѣтствія отцу, романсы Глинки и народныя пѣсни, гдѣ съ необыкновеннымъ оживленіемъ пѣлось хоромъ:

Чарочка серебряная! Колу чару пити, Кому выпивати? Пити намъ Өеодору, Пити свътъ-Петровичу,— Наши буйныя головки преклоняются!

и гдѣ, наконецъ, многіе пошли плясать въ присядку.

На этомъ объдъ присутствовалъ прівхавшій изъ Севастополя адмираль Рикордь. Во время потока всевозможныхъ речей, адмираль сказаль: "Передъ вашей благородной, художественной семьей и опускаю свой адмиральскій флагь, но передъ врагами отчизны — никогда"! Хотя эти слова въ ту минуту веселаго, приподнятаго настроенія вызвали взрывъ энтузіазма, выразившійся не только словами, но и дёломъ, такъ какъ отцомъ былъ предложенъ сборъ въ пользу раненыхъ, въ которомъ всв присутствующіе приняли живое участіе, но въ сущности большинство нашего кружка, съ отцомъ во главъ, было противъ войны въ принципъ. У насъ часто разсказывались, иногда очевидцами, всъ ужасы севастопольской кампаніи, въ душу закрадывалось сожалъніе и негодованіе за столько напрасно погибшихъ подвиговъ и жизней. До сихъ поръ помню я ту боль, которая отзывалась и въ моемъ дътскомъ сердцъ, при потопленіи нашего флота, взятіи Малахова кургана; такъ тяжело было всвив, что желали одного: мира во что бы то ни стало, и извъстіе о миръ, какъ онъ ни казался печаленъ для Россіи, повергло насъ въ большую радость: какъ-то вдругъ полегчало, можно было опять жить безъ этого страшнаго гнета.

IV.

Какъ высоко, о, человѣкъ, твое призванье— Отъ лика Божія на землю павшій свѣтъ! Есть все въ твоей душѣ, чѣмъ полно мірозданье, Въ ней все нашло себѣ созвучье и отвѣтъ. Щербина.

Я раздёляю мое дётство на два періода. Мнт очень трудно объяснить, почему это такъ, но переломъ этотъ ясно мною чувствуется. Первый періодъ носитъ характеръ бол е интимной жизни, второй — бол е внт шей; въ первомъ меня всю поглощала атмосфера душевная, чисто любовная, во второмъ — скор е умственная; въ первомъ я жила одною жизнью съ моими близкими и дорогими, во второмъ — я начала нъсколько обособляться отъ нихъ; въ первомъ вся жизнь моя была одна радость, во второмъ — я узнала и нъкоторыя душевныя страданія. Я не могу выразить всего этого понятно и толково, потому что тутъ суще-

ствуетъ цёлый рядъ переходовъ и причинъ, которые не совсёмъ ясны для меня самой; но грань все-таки была и совпадала приблизительно—съ уходомъ изъ нашего дома т-те Левель, которая всецьло поглощала меня и держала подъ обаяніемъ нашего теплаго, но замкнутаго внутренняго мірка, — и съ знакомствомъ нашей семьи съ молодымъ художникомъ Николаемъ Осиповичемъ Осиповымъ, который внесъ много новаго и живого въ нашу жизнь. Онъ быль мой первый учитель рисованія; по его иниціативъ устроились у насъ знаменитыя "среды", художественные вечера, прототипы позднъйшихъ "пятницъ" въ академіи и другихъ подобныхъ вечеровъ. Осиповъ былъ очень интересенъ: веселый, остроумный, прекрасный чтецъ, онъ всегда умълъ воодушевлять общество. По средамъ въ громадной нашей залъ ставились длинные столы, покрытые зеленымъ сукномъ, освъщенные лампами съ рефлекторами, и всъ наши художники садились за работу: кто рисовалъ карандашомъ, кто кистью. Писатели читали тутъ свои новыя вещи, разсказывали, музыканты играли и пъли. Публики собиралось очень много, но большею частью все были артисты, и потому эти вечера отличались оживленіемъ, разнообразіемъ, шумною веселостью и вмъстъ съ тъмъ интимнымъ характеромъ. Чудные, незабвенные это были вечера! Еслибы я захотъла перечислить всёхъ замёчательныхъ людей, которые собирались тутъ, то пришлось бы переименовать всвхъ выдающихся тогда нашихъ писателей и художниковъ и очень многихъ профессоровъ, музыкантовъ, актеровъ и прівзжихъ артистовъ. Тогда было богатое время по отношенію къ талантамъ: если періодъ Пушкина, Жуковскаго, Гоголя, Брюллова (которые всѣ были друзьями отца) миноваль, то все-таки это было время, когда жили Вяземскій, Одоевскій. — время Тургенева, Писемскаго, Толстого, Майкова, Иванова... Тутъ слышали мы превосходное чтеніе Писемскаго, Тургенева и еще болѣе превосходные разсказы послѣдняго, неизданныя вещи Майкова, Мея, Полонскаго, игру Контскаго, пвніе де-Бассини, Леоновой и Петрова.

Н. Ө. Щербина былъ душой нашего общества. Многіе еще помнять вѣроятно этого маленькаго, смуглаго человѣка, съ необыкновенно блестящими, живыми и проницательными черными глазами, помнять его остроуміе, его ѣдкія сатиры, но мало кто зналь его душевныя качества, его трагическую внутреннюю жизнь, тѣ богатыя сокровища любви, которыя таились подъ личиной озлобленія, мало кто замѣчалъ, что въ смѣхѣ его звучали слезы. Чуткая и нѣжная душа, страстное стремленіе къ любви, высокоидеальное представленіе о женщинѣ, — все это было попрано въ

немъ жизнью. Онъ былъ весь точно израненный, весь окровавленный внутри; и чѣмъ сильнѣе подымалась въ немъ боль, тѣмъ веселѣе и ядовитѣе лились его остроты и оглушительнѣе гремѣлъ гомерическій хохотъ его слушателей.

Какъ только появлялся Николай Өедоровичъ, всѣ занятія прекращались, художники бросали кисти, старички - карты, дъти-игрушки, около него образовывался тъсный кругъ и до утра лились самыя оригинальныя, самыя фантастическія импровизаціи. Тутъ задѣвалась и политика, и литература, всѣ "злобы дня", рисовались каррикатуры нравовъ, разсказывались уморительные анекдоты, часто о присутствующихъ, но въ нихъ было столько комизма, веселости и добродушія, что никто не обижался. Щербина обладаль необыкновенной наблюдательностью и способностью схватывать самыя характерныя черты человъка, обрисовывать личность или кружокъ какимъ-нибудь словомъ такъ мътко, что это слово на въки прилипало къ охарактеризованному имъ лицу или кружку; но зла, желанья сдёлать комунибудь больно не было въ Щербинъ, напротивъ, онъ съ сердечнымъ тактомъ умълъ разграничивать легкую насмъшку отъ обиды, когда говорилъ о присутствующихъ. Талантъ этого человъка выражался главнымъ образомъ въ томъ, что онъ никогда не повторялся, и, множество разъ передавая свои сонники и аканисты, умълъ разнообразить и варьировать ихъ до неузнаваемости, въчно прибавляя что-нибудь новое и совершенно неожиданное. Напечатанныя его вещи не дають и понятія о блескъ его разсказовъ. Все — новости дня, прочитанная вещь, случайно къмъ-нибудь сказанное слово, все служило ему темой для нескончаемыхъ импровизацій. Такого хохота, который раздавался между его слушателями, право, мнв не случалось потомъ слышать: хохотали до изнеможенья, до боли, а на его лицъ никогда не появлялось даже и улыбки, онъ говорилъ совствить серьезно, точно разсказываль самыя обыденныя происшествія, и такъ уб'єжденно, точно вполн'є в'єриль въ ихъ д'єйствительность; этотъ контрастъ между его выражениемъ и тъмъ, что онъ разсказывалъ, производилъ невъроятно комичное впечатлъніе, которому способствовало легкое заиканіе Николая Өелоровича: выходило какъ бы подчеркивание нъкоторыхъ мъстъ рвчи и иногда удивительно кстати. Вообще, это чуть замътное заиканіе какъ-то шло къ Щербинъ.

За этимъ-то игривымъ разсказчикомъ просмотрѣли въ немъ страдающаго человѣка и вдохновеннаго поэта. Щербину, какъ поэта, мало знали, а какъ человѣка— не понимали вовсе. Объ его

сатирахъ всё говорили, въ обществё его всегда просили разсказать что-нибудь, но только небольшой кружокъ оцёнивалъ вполнё, какъ это дёлалъ мой отецъ, душевныя качества Щербины и его дивныя антологическія стихотворенія. Въ послёднихъ, по мнёнію моего отца, Щербина поднялся на высшія ступени, когда-либо достигнутыя самыми великими поэтами.

Бываютъ личности, къ которымъ всю жизнь судьба несправедлива: къ такимъ принадлежалъ Щербина, и не мудрено, что онъ сдѣлался мизантропомъ. Натѣшивши общество въ продолженіе цѣлаго вечера, выливъ въ насмѣшкѣ всѣ свои тайныя слезы, иногда набравши въ то же время въ душу новаго негодованія, онъ отправлялся въ трактиръ Палкина и тамъ, одинокій и угрюмый, просиживалъ до утра; тамъ онъ работалъ и читалъ, а чаще думалъ свои мрачныя думы. При этомъ онъ пилъ одинъ только чай. Утромъ возвращался онъ домой и ложился спать.

Часто отецъ мой и мать выговаривали ему за такой образъ жизни; тогда онъ открывалъ передъ ними свою наболѣвшую душу, описывалъ свою безрадостную жизнь, всѣ порывы къ тихому личному счастью, всю боль за страдающее человѣчество, всѣ стремленія, которымъ закрыта была дорога, все то, что заставляло его ёжиться отъ людей и уходить въ себя.

Впоследствіи душа Щербины нашла себе выходь, хотя и болье узкій, чымь можно было думать, судя по его прежнимь общечеловъческимъ тенденціямъ, но все-же самъ по себъ прекрасный: Щербина увлекся изученіемъ народной поэзіи и все съ большею нъжностью вникаль въ характеръ русскаго народа. Но и тутъ суждено было нашему поэту остаться непонятымъ. Онъ въ своей любви къ народу не примкнулъ ни къ славянофиламъ, - къ "спиртофиламъ", какъ онъ называлъ ихъ, - ни къ народникамъ, которые, какъ онъ разсказывалъ, говорили мужику: "ей Богу, Бога нътъ!" — онъ остался и тутъ самобытнымъ и, потому, одинокимъ. То было какъ разъ время конца шестидесятыхъ годовъ, время честное, но жестокое, -и этого увлекающагося человъка, самого до слёзъ умиляющагося надъ бабой, съ простою върою и слезами ставящей свъчку передъ образомъ, обвинили не только въ реакціонерствъ, но даже въ лицемъріи. И я подъ давленіемъ времени сдълалась причастна къ этому гръху противъ Духа Святого: я, которую съ дътства любилъ Щербина, какъ дочь, я, на свадьбѣ которой онъ поднялъ заздравный кубокъ "за молодыхъ князя съ княгинею" и сказаль трогательную, горячую рёчь; я, которая должна бы хорошо знать его, могла дать себя настроить противъ него!.. Можетъ быть, чуткій Щербина подмітиль какую-нибудь легкую переміну въ моемъ всегда дружескомъ отношеніи къ нему, а можетъ быть и случайно, но онъ послідніе годы своей жизни сталь різдко бывать у насъ. Мы, кажется, уже боліте года не видались съ нимъ, когда услышали, что онъ сильно боленъ. Мужъ мой тотчасъ же отправился къ нему, засталь его очень плохимъ, почти уговориль его сділать трахеотомію, и вечеромъ того же дня отправился къ нему съ проф. Богдановичемъ. Но Щербина не позволиль сділать операцію, которая, по словамъ мужа, спасла бы его. Въ эту тяжелую минуту онъ еще вспомниль о моихъ дітяхъ и послаль имъ изданный имъ сборникъ "Пчела".

Николай Өедоровичъ далъ слово, что если ему станетъ хуже, онъ тотчасъ же пошлетъ за Богдановичемъ, который оставилъ у него свои инструменты. Когда въ ту же ночь припадокъ удушья захватилъ Щербину, онъ не успълъ даже позвать своего лакея, и утромъ его нашли мертвымъ на полу... Въ предсмертныхъ мукахъ своихъ, какъ и въ жизни, не встрътилъ онъ около себя помощи любящей руки и, какъ жилъ, такъ и умеръ одинокимъ.

Но отъ этихъ, далеко впередъ завлекшихъ меня грустныхъ воспоминаній я должна вернуться къ тому времени, когда въ нашей академической гостиной, среди сочувственнаго кружка, Щербина бывалъ иногда искренно доволенъ, и упомянуть о другихъ извъстныхъ поэтахъ, часто бывавшихъ тогда у насъ.

Мей быль человъкъ недовольный и страдающій, но, въ противоположность Щербинъ, онъ всегда былъ угрюмъ и молчаливъ въ обществъ. Говорили, что онъ былъ несчастливъ въ семейной жизни, что онъ сильно пиль. Это последнее обстоятельство нисколько не умаляло его въ моихъ глазахъ: столько славныхъ людей земли русской пили въ то время! Я, впрочемъ, никогда сама не видъла никого изъ образованныхъ людей пьянымъ и не знала хорошенько, что это значить "пить"; видъла я полвыпившимъ только Рамазанова въ тотъ день, когда онъ несъ отца моего съ юбилея, -- онъ былъ красенъ, веселъ и очень милъ. это было нъчто отличное отъ того пьянства хорошихъ русскихъ людей, которое представлялось мнв какимъ-то непонятнымъ. великимъ горемъ. Мнѣ кажется, Писемскаго можно причислить къ той же категоріи страждущихъ и ушедшихъ въ себя людей, хотя я мало знала его, и, можетъ быть, ошибаюсь. Я помню только его превосходное чтеніе, особенно не напечатанной тогла "Горькой Судьбины", которая впоследствіи на сцене производила на меня менте впечатлтнія, чтит при чтеніи автора.

Бенедиктовъ былъ очень друженъ съ моей матерью; его я помню въ раннемъ дѣтствѣ; онъ былъ очень застѣнчивъ и молчаливъ; о поэтѣ Губерѣ я только много слышала, но не видала его. Майковъ, Полонскій, Григоровичъ и Тургеневъ были болѣе уравновѣшенныя натуры, болѣе свѣтскіе люди и всегда были ровны въ обращеніи. Майковъ былъ добрый, ласковый, мягкій, онъ приводилъ все наше общество въ восторгъ каждымъ своимъ новымъ произведеніемъ; онъ очень эффектно читалъ.

Полонскій быль у насъ совсёмь свой человёкь; одно время онь даваль мнё уроки русскаго языка и словесности; я съ нетерпёніемь ждала его уроковь, во-первыхь потому, что они очень занимали меня, а во-вторыхъ потому, что послё уроковъ у насъ начиналась самая веселая бёготня и возня: Яковъ Петровичь самь дёлался ребенкомъ съ нами.

Тургеневъ бывалъ у насъ рѣже и импонировалъ намъ, дѣтямъ; мы съ наслажденіемъ слушали его разсказы, но въ интимности съ нимъ не пускались. Его мужественное лицо, обрамленное бородой и гривой густыхъ волосъ, казалось намъ настолько величественнымъ, что мы иначе не называли Тургенева, какъ "Юпитеръ Сергѣевичъ".

Изъ болъе молодыхъ писателей, бывавшихъ у насъ довольно часто, упомяну А. А. Потъхина и Г. Н. Данилевскаго. Съ послъднимъ мы, дъти, были очень дружны; онъ каждый разъ, когда объдалъ у насъ, въ сумерки сажалъ насъ около себя и разсказывалъ намъ украинскія сказки. Бывали у насъ и любители - поэты: Розенгеймъ, Алферьевъ, Арбузовъ. Изъ писательницъ — Хвощинская, Жадовская и Т. П. Пассекъ. Горбуновъ начиналъ появляться со своими разсказами. Послъ войны прівзжалъ въ Петербургъ и явился къ намъ Л. Н. Толстой; онъ тогда былъ еще очень молодъ, но его произведенія читались нарасхватъ; онъ уже стоялъ на ряду съ лучшими писателями, а нашъ кружокъ ставилъ его выше многихъ; въ его "Дътствъ" и "Севастопольскихъ разсказахъ" въяло чъмъ-то совсъмъ новымъ, но такимъ, что находило отголосокъ во многихъ сердцахъ.

Одного только симпатичнаго поэта, моего двоюродного брата, Алексѣя Константиновича Толстого, не видала я въ нашемъ домѣ во время моего дѣтства и познакомилась съ нимъ много позднѣе. Онъ былъ въ ссорѣ со своимъ отцомъ Константиномъ Петровичемъ и не хотѣлъ встрѣчаться съ нимъ, а нашъ милый "дядя Котя" бывалъ у насъ ежедневно. Они помирились уже передъ самой смертью послѣдняго.

Мать моя была въ дъятельной перепискъ съ поэтомъ Никити-

нымъ и иногда читала нашему кружку его теплыя, интересныя письма, а позднве и замвчательныя письма къ ней Шевченко.

Кром'в воскресеній и средь, въ другіе дни у насъ тоже постоянно бывали гости: часто къ об'вду приходили двое-трое, а вечеромъ иногда неожиданно собиралось довольно большое общество.

На святкахъ наши друзья дълали намъ неожиданные сюрпризы. Бывало, сидимъ мы себъ спокойно дома; отецъ, по обыкновенію, работаеть у себя въ кабинеть, у мамы въ будуарь ктонибудь читаетъ, мы пріютились тутъ же, въ темной амфиладъ комнать тишина... Вдругь-звонокъ!... Вбъгаеть горничная и, запыхавшись, возвъщаеть: "Ряженые прівхали"! Залу моментально освъщають; является нъсколько паръ масокъ, закостюмированныхъ съ тъмъ оттънкомъ правдивости времени и стиля, которую такъ хорошо умъютъ придать маскараднымъ костюмамъ художники. Все это наши ежедневные посътители, по они долго интригуютъ насъ, пока намъ удается узнать ихъ. На меня (даже и до сихъ поръ) непріятно д'єйствують маски, и я прошу снять ихъ. Начинаются танцы. Я убъгаю, надъваю свой сарафанъ, распускаю свою тяжелую косу и пляшу "русскую"; папа импровизируетъ нъсколько па менуэта; Ив. Ив. Соколовъ изображаетъ балетную танцовщицу, что крайне комично при его долговязой фигуръ; Рюль показываетт изумительные фокусы; К. А. Трутовскій острить напропалую, за что получаетъ мъдные гроши... Шумъ, гамъ, смъхъ и музыка звенять въ только-что передъ тъмъ такихъ молчаливыхъ комнатахъ... Но почему дверь въ гостиную закрыта? Передъ ней начинаютъ разставлять стулья, просятъ публику състь. Раздается звонокъ, дверь растворяется— и передъ нами эффектно освъщенная живая картина: Фаустъ и Мефистофель! Черезъ минуту картина оживляется; голова Фауста досадливо поднимается съ руки, на которой покоилась:

"Мнѣ скучно, бѣсъ!" —"Что дѣлать, Фаустъ!.."

—звучать слова Пушкина, превосходно переданныя Соколовымъ и въ особенности Осиповымъ (Мефистофель). По окончаніи—взрывъ рукоплесканій, а потомъ, какъ всегда бываетъ, критика, споры... А тетя уже успѣла позаботиться объ ужинѣ. Несмотря на скромное мѣстечко, которое она занимала въ немъ, весь нашъ блестящій кружокъ кажется мнѣ немыслимымъ безъ этой тихой и ласковой хозяйки за столомъ. Она была какъ солнце въ съренькій лѣтній день: оно не блеститъ, но все-же свѣтитъ и грѣетъ и безъ него нельзя обойтись...

Иногда такъ же неожиданно прівзжали тройки и увозили насъ кататься при звукахъ пѣсенъ и прибаутокъ. Тройки несутся въ перегонку, забрасывая снѣгомъ... "Эй вы, голубчики! Не здѣсь умирать у бочки!" "Эй вы, милые, съ горки на горку—баринъ дастъ на водку"!—орутъ веселые голоса; бывало, даже ямщики разойдутся и грянутъ какую-нибудь удалую, залихватскую пѣсню...

Весело, широко жилось! Но все было проникнуто простотой, и потому болѣе доступно, чѣмъ теперь. Смѣшно вспомнить, изъ чего состояли наши ужины, — даже на большихъ вечерахъ подавались къ закускѣ: селедки, икра, сыръ, потомъ какая-нибудь ветчина съ горошкомъ, громадная телятина или росбифъ, домашній сладкій пирогъ, изъ напитковъ—S-t Julien или Медокъ въ 60 коп. Но нашимъ гостямъ не требовалось помощи шипящаго шампанскаго для возбужденія въ нихъ веселости и остроумія, и безъ того шутки, тосты, анекдоты, споры, а иногда и пѣсни раздавались за нашимъ столомъ до самаго утра...

Пустая игра, часто и теперь употребляемая подъ именемъ "игры въ мнънія" (у насъ она называлась "цензурой") являлась въ нашемъ кружкъ въ высшей степени интересной. Игра состояла въ томъ, что одинъ изъ присутствующихъ, назвавшись какоюнибудь вещью, удаляется; остальные высказывають объ этой вещи свои мнънія: вернувшійся долженъ выбрать одно изъ этихъ мнвній и отгадать, кто его подаль. Всв наши писатели принимали участіе въ этой игръ. Остротамъ, мъткимъ характеристикамъ не было конца, - подчасъ зло продергивали другъ друга, но у насъ было принято не обижаться, — каждый даваль не одно мивніе, а десять, двівнадцать, все это записывалось на цілых листахь, — Щербина былъ неистощимъ, и онъ, и Майковъ, и многіе другіе писали стихами; этихъ эпиграммъ и остротъ набралось бы на цълый томъ, еслибы кто-нибудь изъ насъ догадался припрятывать ихъ; это было бы темъ более интересно, что почти все подлежавше "цензуръ" — были извъстными личностями въ нашей литературъ и въ нашемъ искусствъ. Къ сожалънію, мы не думали о будущемъ, а въ настоящемъ такъ привыкли къ окружавшему насъ обществу, что во всемъ этомъ не видъли ничего особеннаго: намъ казалось, что все это всегда будеть и такъ и быть должно.

Самъ отецъ мой былъ не прочь пошутить и поиграть, въ особенности послѣ его послѣобъденнаго сна, entre chien et loup. Иногда, серьезные люди, объдавшіе у насъ, съ нимъ во главъ, просто играли съ нами въ "кошки-мышки", или въ "жмурки". Отецъ поразительно ловко жонглировалъ пятью мѣдными шарами

и большимъ шнуркомъ съ кистями, который съ неимовърной быстротой описывалъ вокругъ его головы всевозможныя фигуры.

Но я слишкомъ увлеклась шуточной стороной нашего времяпрепровожденія и не говорила еще о серьезномъ воспитательномъ значеніи, которое имѣлъ домъ отца моего для нашихъ молодыхъ художниковъ,—а оно, по словамъ ихъ самихъ, было громадно.

Въ то время для поступленія въ академію не требовалось никакихъ дипломовъ; часто поступали молодые люди совершенно неразвитые, чуть-ли не безграмотные и не бывавшіе никогда въ обществъ. Лишь только отецъ замѣчалъ признаки таланта въ комъ-нибудь изъ нихъ, — сейчасъ ободрялъ его, поддерживалъ и звалъ къ себъ.

"Притащенный къ вамъ почти насильно товарищами", разсказываль мнъ впослъдствіи одинь изъ нашихъ извъстныхъ художниковъ, — "дико озираешься на незнакомое общество, сидишь ни живъ, ни мертвъ на кончикъ стула, а потомъ понемногу начинаешь чувствовать, что ты туть не чужой, что ты такой же гость, какъ и всв прочіе; не снисходительное покровительство встръчаешь къ себъ, а полное равенство и ласковое участіе. Скоро видишь себя поставленнымъ на одинъ уровень съ людьми, стоящими выше въ сословной и въ художественной іерархіи, и болъзненное самолюбіе исчезаеть, какъ-то подымаешься въ своихъ собственныхъ глазахъ. Прислушиваясь къ тому, что говорилось и читалось вокругъ, мы многому научались, а въ то же время рождалась потребность еще большаго знанія и развитія. Потомъ самого уже тянетъ въ тотъ кругъ, гдъ столько интереснаго, гдъ не унижають человъческого достоинства, гдъ и ты чувствуещь себя къмъ-нибудъ... Вашъ домъ былъ для насъ школой, мы туть и образовывались, и воспитывались. Сначала и не опомнишься, а выйдешь отъ васъ уже другимъ человъкомъ!"

"Домъ графа Ө. П. Толстого, — говорить Рамазановъ 1), — и воздухъ котораго, кажется, былъ пропитанъ влеченіемъ къ искусству, былъ постоянно высшею школою для молодыхъ художниковъ, имъвшихъ счастье бывать въ кругу ученыхъ, литераторовъ, опытныхъ художниковъ, поэтовъ, музыкантовъ и пъвцовъ, собиравшихся у Ө. П. по воскресеньямъ".

Отецъ мой былъ въ высшей степени безпритязателенъ, до крайности скроменъ; онъ всегда стушевывался, давая высказаться другимъ, но всъ, бывавшіе у насъ, невольно подда-

^{1) &}quot;Матеріалы для исторіи художествъ".

вались его очарованію, проникались чёмъ-то исходящимъ отъ него и сплачивались около него, какъ около очага. Безъ всякаго желанья съ его стороны, его духовная сила сказывалась и въ семьё, и въ гостиной.

Моя мать это хорошо понимала—она никогда въ обществъ не выставляла впередъ себя, а всегда казалась только первой поклонницей и живой помощницей отца. Въ салонъ мать моя была удивительная хозяйка: глазъ ея былъ всюду; она умъла возбудить интересъ застывающаго разговора, соединить разнородные элементы, поднять настроеніе общества. "А въдь надо правду сказать", — говорилъ мнъ Н. А. Съверцовъ, когда мы съ нимъ какъ-то вспоминали старину, — "удивительно умъла графиня возбудить во всъхъ насъ какое-то поэтическое настроеніе, создать поэтическую атмосферу".

Въ то время, когда мало читалось на Руси книгъ, общение съ людьми образованными, дъйствительно, имъло значение школы для молодежи, и понятно, какую важность имълъ для нихъ такой домъ, какъ нашъ.

Вліяніе отца моего не ограничивалось, однако, этимъ. Кто не зналъ въ то время о борьбѣ, которую выдержалъ онъ за свое искусство, какъ отказался ради него отъ связей и почестей, какъ пробивался шагъ за шагомъ по намѣченному пути, какъ своимъ трудомъ и нравственнымъ достоинствомъ достигнулъ высокаго положенія въ искусствѣ и во мнѣніи общества? Кто не видѣлъ его за дѣломъ, не покладающимъ рукъ съ утра до ночи? Кто не видѣлъ, какъ онъ просто и искренно относился къ каждому ученику, какъ низко снималъ шляпу передъ каждымъ сторожемъ? Какъ просто и гордо стоялъ за то, что считалъ правымъ? Человѣкъ, который поучалъ не словами, а примѣромъ всей своей цѣлостной и стройной жизни, могъ ли не вліять на духъ заведенія, во главѣ котораго онъ находился?

Постоянный упрекъ, который дѣлаютъ академіи того времени, гласитъ, что направленіе тамъ было классическое, "академическое", что тамъ подражали итальянцамъ; но могло ли быть въ то время иначе? Во Франціи и Англіи только въ 30-хъ и 40-хъ годахъ началъ загораться свѣтъ новыхъ направленій, а къ намъ дошелъ много позже. Лжеклассицизмъ и романтизмъ были историческіе моменты, которые русскому искусству, какъ и всякому, нужно было пережить. Отецъ всю жизнь шелъ не только въ уровень своего времени, но скорѣе впереди его: онъ горячо привѣтствовалъ Өедотова, ожидалъ возрожденія искусства отъ картины Иванова, и еслибъ онъ былъ начальникомъ академіи въ 63-мъ году, то

кто знаетъ? — можетъ быть, нашимъ молодымъ художникамъ не пришлось бы выходить изъ нея и основывать свою артель; можетъ быть, академія измѣнилась бы, приняла въ себя свѣжія вѣянія и, оснащенная вновь, гордо поплыла бы во главѣ молодыхъ силъ русской школы. По крайней мѣрѣ, я знаю, что когда случилась эта исторія, то отецъ мой, восьмидесятилѣтній старикъ, былъ вполнѣ на сторонѣ молодыхъ художниковъ и много разъ говорилъ, что "они правы", что, "избирая сюжетъ своей картины, художникъ можетъ съ большей свободой и любовью работать и лучше выразить свою мысль"... "Разъ мы видимъ, что прежній способъ не годится, — надо его измѣнить"...

advitata jung ting samus remarka hangatan salishir hanga beli

Ек. Юнге.